

НИКОЛАЙ
КОРСУНОВ

МЫ НЕ
ПРОЩАЕМСЯ



ЖАЗУШЫ

НИКОЛАЙ
КОРСУНОВ

P2
K-69

МЫ НЕ ПРОЩАЕМСЯ

РОМАН
ПОВЕСТИ

Q-144218



АЛМА-АТА
«ЖАЗУШЫ»
1988

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. КРУПСКОЙ

МЫ НЕ ПРОЩАЕМСЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Леснов, склонившись над просторным столом, исподлобья бросал на новенькую короткие изучающие взгляды. Люба сидела напротив, с неким вызовом закинув ногу на ногу.

Красива! С самомнением, чувствуется. Одета безукоризненно: короткая темно-синяя, со складкой юбка, белая свежая кофточка, на ногах — остроносые легкие туфли. Голубые глаза подведены синим чуть ли не до висков — по моде. Обесцвеченные перекисью волосы накручены башенкой. Только сигареты не хватает в тонких длинных пальцах, сцепленных на колене.

Леснов внутренне усмехнулся: «А сквозь пудру все равно веснушки просвечивают! О, милая, все знаю, все-все... Деньжат у студенток не густо, сами и маникюр делают, и волосы крутят, и старые платья перекраивают. Знаю! А вот отныне и маникюр, и длинные ногти — долой, не положено, доктор!»

Он перевел взгляд на тоненький скоросшиватель — ее «дело». В «деле» — два листочка: направление облздравотдела и характеристика мединститута. Пробежал глазами характеристику. Все как полагается: комсомолка... активно участвовала в общественной жизни института... политически грамотна... морально устойчива. Несколько лет назад и он с такой же вот характеристикой явился сюда.

Любу раздражало, что главврач так долго молчит и смотрит на нее. Изучает? К тому же после трех часовой дороги в раздерганном автобусе ей все еще было несколько не по себе. Запах бензина и сейчас преследовал ее.

«Смотришь? Ну и я на тебя буду смотреть. Глазом не моргну! Узнаешь тогда, хорошо это или плохо так долго разглядывать человека. Такого лица я, пожалуй, не встречала еще. Глаза черные, посажены глубоко, совсем прячутся под сросшимися бровями. Нижняя губа толще верхней и раздвоена, будто ее разрезали Тем же ножом, наверное, и подбородок тоже надвое развален... Ага, не выдержал!»

Леснов встал, отошел к открытому окну, затянутому мелкой металлической сеткой. На улице был августовский зной. Под окном гудели мухи. Возле колодца громко переговаривались две пожилые санитарки в белых халатах

— Скажите, Леонид Евлампиевич, что является главным в дружбе мужчины и женщины?

Он сердито обернулся от окна: что за чушь взбрела ей в голову? Ох, эти короткие юбочки, эти высокие прически.

— Вы не ответили, Леонид Евлампиевич.

— Главное, чтобы оба были умны. Или оба глупы

— Тогда все в порядке, мы с вами сработаемся!

Он невольно улыбнулся:

— Оригинально. А знаете, где вам предстоит работать?

— Знаю. Вы оставите меня здесь.

— М-да-а, оптимистка вы, Любовь Николаевна.

Место ей он определил сразу же, как только она перешагнула порог его кабинета: поселок Лебяжий. Самый глухой уголок района. Молодежи мало — не задерживается, катит в город, на большие стройки. Староверы кружки воды не подадут прохожему, а подадут, так потом выкинут посудину. Те, что помоложе, пьянствуют, жен колотят. Никак не получается у районщиков с этим Лебяжьим. И у него, Леснова, не получается.

— Вы, Любовь Николаевна, поедете в самый дальний поселок. Оттуда две ваши предшественницы сбежали.

«Ну, что? — спрашивал его взгляд. — Как теперь ваше самочувствие, Устименко?»

Люба улыбнулась. И по этой улыбке можно было прочесть ее мысли: зря пугаете, товарищ главврач!

Люба раскрыла сумочку, глянула в зеркальце — солнечный зайчик скользнул по потолку, в белом застекленном шкафу пересчитал колбочки и мензурки, никелированные инструменты. Поднялась. Высокой она казалась оттого, что была тоненькая, как девочка. На висках ее курчавились локоны. «В войну девчата на горячий гвоздь накручивали волосы, чтобы сделать такие симпатичные завитушки, — механически отметил Леонов. — Следит за собой. Ладно это или худо? А как насчет Лебяжьего?»

— Значит, все в порядке, — сказала Люба, пряча зеркальце. — Мне повезло.

— Я вас не совсем понимаю. — Леснов отвинтил наконечник авторучки, принялся набирать чернила.

— Именно в такой уголок я и хотела попасть. Через год поступаю в аспирантуру на заочное, через четыре — защиту кандидатскую. Улыбаетесь? Я думала, вы не умеете улыбаться.

— Вы оптимистка, Устименко! — повторил он и усмехнулся про себя: «До первых заморозков! Если оранжерейная, парниковая — до первых заморозков, сразу завянешь».

— Теперь скажите, как мне добраться до того Лебяжьего?

— Сейчас что-нибудь организуем.

Он принялся звонить в райком, в райисполком, в другие организации, спрашивая, нет ли там кого из Лебяжьего. Наконец в райпотребсоюзе оказалась лебяжинская машина.

— Ну вот и докатите! — с облегчением положил он трубку. — Шестьдесят километров для наших мест — пустяк. По всем данным, в Лебяжьем надо бы содержать только фельдшерско-акушерский пункт, поселок невелик. Но мы посылаем и врача. Идем навстречу правлению колхоза. Все расходы по медпункту артель берет на себя. От нас вы будете получать лишь зарплату.

— Значит, там много болеют?

— Меньше, чем где-либо. Просто всеми силами продвигаем туда новую жизнь, цивилизацию. Трудные там люди, это я вам честно говорю, Люба.

В этом простом «Люба» прорвались искренность и теплота. И Люба посмотрела на него с благодарностью.

К воротам подъехала автомашина с прицепом, загруженным досками. Над желтыми длинными досками видно было прозрачное струение воздуха. Под горячим солнцем они источали смолистый запах соснового бора, который доносило даже сюда, в кабинет. Шофер, высунув белую лохматую голову, нетерпеливо посигналил.

— Ну, до побачення, Леонид Евграфович! — Люба протянула хрупкие холодные пальцы с покрашенными ногтями. — Спасибо за чуткость.

Он слегка поморщился: ну и отчество! Кивнул:

— Устраивайтесь. Звоните. Кстати, отчество мое не Евграфович, и не Евлампиевич, а Евстифиевич. Будьте здоровы!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Телеграфные столбы казались Любе альпинистами, связанными между собой страховочной веревкой. Они медленно поднимались на взгорье. Белая, накаленная солнцем дорога то бежала рядом со столбами, то путалась между их черными смоляными ногами. Беря подъем, машина пела, как закипающий самовар, на высокой натужной ноте.

Григорий — так звали шофера — напряженно склонился над баранкой. И казалось, будто он сам тянул в гору эти тяжелые доски, похлопывающие при встряске концами. Видимо, он боялся, что его «газон» не возьмет длинный, хотя и пологий, взвоз. Растрепанные сивые волосы парня прилипли к мокрому лбу. Широкие белые

брови выделялись на шоколадном от загара лице. Когда Григорий улыбался, то брови его разъезжались в стороны. Губы тоже широкие и плоские, тоже белые, шелушащиеся — наверно, от зноя, от горячих суховеев.

Наконец машина выбралась на вершину и покатила легко, подпрыгивая на колдобинах. Григорий облегченно откинулся на спинку сиденья и вытер рукавом пот.

— Думал, не осилит. — Он давно уловил, как внимательно посматривала на него пассажирка. Хмыкнул и спросил: — Что приглядываетесь? Понравился, поди?

Люба неопределенно улыбнулась.

— Вообще-то я мог бы понравиться, да вот нос у меня... Как пятка, широкий. Говорят, сейчас пластические операции делают. Не возьметесь?

Люба не ответила. Григорий вздохнул:

— Вы, наверно, думаете, почему шоферы порой так разговорчивы? А он, бедолага, посидит вот так день за баранкой в душной, бензином и маслом пропахшей кабине, так рад потом любой живой душе: абы слушала, абы рядом была! А если поддакнет, то он и о себе, и о своей жене, и о своей теще всю подноготную расскажет. И уж, конечно, все истории, которые с ним и не с ним приключились, выложит как на ладошке.

Люба опять промолчала.

Вперед уходили и уходили черные, словно обуглившиеся от зноя столбы. Их затесанные верхушки были выбелены птичьим пометом. На некоторых маячными вехами сидели разомлевшие коршуны. Они

поворачивали вслед машине сплюснутые головы, часто дышали раскрытыми коричневыми клювами.

Слева тянулась оранжевая стерня скошенного проса. Иногда в мареве виднелись горбатые, как верблюды, комбайны. А справа, где угадывалась уральная пойма, копились бурые с фиолетовыми подпалинами тучи. Было необыкновенно душно, хотя боковые стекла были опущены. Григорий сказал, что, наверно, вот-вот «врежет» гроза и что хорошо бы до нее успеть проскочить через одну пакостную речушку.

— А вы, считаю, натуральная украинка. Ага?

— Вы проницательны.

— И, пожалуй, с Полтавщины?

— Угадали. Как это вам удастся?

— Ха! Чувствую! Наш колхоз послал туда делегацию для обмена опытом. Ваши будут учить наших полтавские галушки варить, а наши ваших — затируху, по-местному — джурму... А в чемодане вы не везете, случаем, маринованных галушек?

— Очень торопилась в Лебяжий, не успела захватить.

— Жаль. А как себя Карл XII чувствует? Говорят, председателем укрупненного колхоза работает?

Люба рассмеялась. Этот парень определенно задался целью не давать ей грустить. Он, наверно, понимал состояние человека, едущего в незнакомое место, к чужим людям. Не зря же и сочувственно и немного покровительственно поглядывал на Любу, на ее неуклюжий чемодан — с этим чемоданом когда-то еще отца на целину провожали. Самое непосредственное,

самое беззаботное для Любы осталось далеко позади, где-то за сыртом, на который они так трудно поднимались. Люба всматривалась вперед, туда, где накапливались тучи, где вызревала по-летнему яростная гроза, идущая машине навстречу. В черных недрах туч уже скрещивались сине-белые молнии, тяжело взгромыхивал, грозился старец-гром. Казалось, надвигающегося ненастья напугалось даже перекаленное солнце, оно поспешно скатывалось позади кабины, и перед машиной бежала длинная-предлинная тень.

Суровое предгрозые угнетало Любу, и она рада была, что в эти минуты рядом сидел белобровый неунывающий шофер.

Пронеслись мимо два парня на мотоцикле. И это вновь дало Григорию повод для разговора. Стал рассказывать, как обогнал однажды на мотоцикле незнакомую «Волгу», хотя она и «выжимала» все сто двадцать в час. Попало за это автоинспекции: у вас пьяные по дорогам носятся сломя голову, а вы ворон в небе ловите! Григорий не был пьян. Оказывается, ехало в «Волге» большое начальство...

— Вывод? — Григорий ухмыльнулся, пояснил по-украински: — Не лезь попэрэд батька в пекло!

Метнулся под колеса ветер, взвинтил пыль. Он тут же перерос в кудлатый смерч, унося в небо соломинки, перья. Даже прошлогодние перекасти-поле взвились в вышину, и казалось, что там кто-то гоняет футбол. В придорожном кусте татарника яркой конфетной оберткой исчезла перепуганная птица. Картечью ударили в лобовое стекло первые капли. Косые струйки,

сбиваемые встречным ветром, оставили на запыленном стекле прозрачные полосы

— Не успели! — огорченно сказал Григорий. Без всякой связи с предыдущим, добавил: — Нам бы усватать вас! Свадьбу сыграть. А так. — Он безнадежно мотнул рукой. — Есть у нас учитель. Головастый парень. Комсорг. Не держатся у нас врачи, Люба. А парень — что надо! Правду любит, вот что главное. Я бы не решился, а он — невзирая на лица, так сказать. Интересно, проскочим мы речушку или нет?

Сзади еще светило солнце, а впереди было темно от громадной тучи, от ливня. Вверху шла великая сеча, молнии разрубали тучу на куски, а она снова смыкалась и становилась еще больше, еще грознее. И близились, близились серебряные фонтанчики ливня, сверкающие над ковылями. Кажется, вот-вот затопчет дикая, шальная конница и машину и целый мир, испуганный и притихший. Ахнул небывалой силы гром, расхохотался над степью торжествующе и злорадно...

Потом стало мрачно и тихо, как при солнечном затмении. И вдруг хлынул ливень. Редки они в здешних местах, но уж коли соберется туча, то отведет душеньку, натешится. Мгновенно образовались серые пыльные лужи, они кипели под густыми толстыми струями. И сразу машина заелозила по грязи, словно прозябший кутенок на льду.

Опять, как на крутом подъеме, выл мотор. Держась за скобу впереди себя, Люба косилась на Григория: о чем он думает, насупив широкие выгоревшие брови? Наверно, о речушке с плохим выездом. Это из-за нее, Любы. Если б он не заезжал за ней в больницу, то успел бы проскочить опасное место до грозы.

— Знаете, почему наш поселок называется Лебяжьим? — Григорий не отрывал напряженного взгляда от дороги. Большие короткопалые руки ловко перехватывали баранку, вертя ее то влево, то вправо. Голос у него был спокойный, будничный. — Когда-то, рассказывают, на нашей старице водились лебеди. Было их видимо-невидимо, как песку в море. А сейчас даже перелетные не останавливаются. Слишком много охотников развелось. Бьют всякую живность не из нужды или там спортивной страсти — просто так, от дури. Я бы ввел такой декрет, что... А почему вы такая худая, Люба? Студенческая жизнь?

— Это меня госэкзамены подтянули.

— Мы вас на молоко, на сало, на хлеб пшеничный... Поправитесь! Только не очень старайтесь. Я лично недолюбливаю перекормленных. Вот я сразу после армии почти год начальника райветлечебницы возил. Он чуть старше меня, но, знаете, раздобрел. Глаза у него сытые-сытые. Всего, мол, достиг, все имею: образование, положение, персональную машину. Похлопывает он меня по плечу. «Учиться надо было, Гриша, учиться!» И такое меня зло заело, что выразиться не могу. Нас в войну осталось без отца трое, я еще ползал. С войны отец калекой вернулся. А колхозным инвалидам, сами знаете, какая пенсия назначалась! Все мы пошли работать. Возил я его со службы и на службу, возил к теще на блины и на рыбалку... Не представляете, Люба, сколько во мне зла накопилось! Бросил я своего начальника и возвратился в колхоз.

Люба подняла воротник пыльника — брызги дождя пробивались через щель между боковым стеклом и дверцей.

— Видимо, вы провели жирную демаркационную линию, разделив мир на ученых и неученых?

— Я ничего не проводил. Просто меня злят жирные лентяи. Ведь тот начальник ни черта не делал. Спирт казенный глушил да у чабанов бесбармак лопал!

Люба подумала, что Григорий — типичный неудачник. Вовремя не удалось закончить школу, потом армия, а теперь семья засосала. Таких немало на земле. И они очень завистливы.

— Итак, мостик. Пронеси меня, царица небесная! — Григорий с озорной улыбкой глянул на Любу. — Как скажу: «Пронеси меня...» — обязательно проскочу... Весной в районе за десятый класс экстерном сдавал. А в алгебре я — двенадцать часов ночи. Беру, знаете, билет и шепчу мысленно: «Пронеси мя, царица небесная, подсунь мне тринадцатый билет, тринадцатый и только тринадцатый, ибо выучил я лишь его, сердечный!» Не поверите — точно тринадцатый вытащил! Четверку схлопотал...

Ливень ушел дальше с яростным и сочным шумом, а по ветровому стеклу моросили реденькие капельки, будто вечерняя мошकारа билась о сталинит. Люба опустила стекло со своей стороны. То же сделал Григорий. Кабина наполнилась горьковатым запахом полыни, омытой ливнем, запахом мокрой половы.

Любе стало весело. Она тихонько рассмеялась. Григорий стрельнул в нее удивленным взглядом.

— Если б вы знали, как я плохо о вас думала!

— Ничего неожиданного. Я о себе тоже нередко плохо думаю.

И он замолчал. Возможно, все-таки обиделся на нее, возможно, сосредоточился перед трудным переездом. Наконец кивнул:

— Вон наша заботушка!

Перед спуском он остановился.

Размытая грязная дорога спускалась в глубокий овраг. На дне его после дождя скопилась вода. В ней отражались сваи и настил деревянного мостика. Подъем был крутой и скользкий. Кто-то по нему выехал несколькими минутами раньше. Григорий сказал: председательский «вездеход» прошел. Открыв дверцу, он стоял на подножке и меланхолично смотрел на выезд. Люба смотрела на парня: что скажет? В этой большой кудлатой голове рождались совершенно неожиданные мысли. Так оно получилось и на этот раз.

— У нас председатель уже на второй женат. С первой разошелся — детей не было. С этой три года живет. Детей не прибавилось. А уж под сорок ему. И оттого, похоже, скучно им живется. Обедал я как-то у них. Едят, молчат, чисто навек выговорились. Две фразы за полчаса услышал: «Ты что без хлеба ешь?» и «Подсаливай борщ». А «вездеход» председательский хорошо выбрался, ни разу не оскользнулся. Нам бы передок ведущий... Ну что, Люба?!

— Пронеси мя, господи! — вспомнила она.

Григорий засмеялся, захлопнул дверцу.

— Не господи, а царица небесная! Я женскому полу больше верю. Другие не верят, а я до крайности верю. Вот уходил в армию, моя подруга в знак верности мне взяла и остриглась. Подчистую! Дескать, ждать буду,

Гришенька, можешь залогом взять мою косу. Н-да-а... Коса осталась при мне, а стриженная подруга через три месяца вышла замуж за того самого начальника ветлечебницы. Другой бы на моем месте давно... а я все верю ей. Верю, что она бросит своего жирного дурака и придет ко мне. Без веры, Люба, никак нельзя жить, — закончил он, включая скорость. А Любе думалось, что мысли его были сейчас не о «подруге», а о лощине, которую надо перескочить с тяжелым грузом. Это угадывалось по его лицу, серьезному, с цепким, устремленным в низину взглядом. — Кабы не прицеп у нас... Ну, пронеси мя, царица небесная! Сто граммов за твоё здоровье выпью!..

Машина осторожно заскользила вниз. И только когда миновали две трети спуска, Григорий дал полный газ, чтобы набрать скорость и с помощью инерции выскочить на кручу. Взвыли колеса, разбрызгивая грязь. Сгорбившись, Григорий впился руками в баранку, глазами — в дорогу. На скулах взбухли желваки.

Метров пять не дотянул мотор до верха: забуксовали скаты, и через несколько секунд машина поползла назад.

Григорий высунулся в приоткрытую дверцу, смотрел назад, подруливая так, чтобы прицеп не свалился с моста. — Загорать нам теперь, товарищ доктор. Темно скоро станет, как у ведьмы в мешке.

— А до поселка далеко?

— Пять с половиной километров. По спидометру. А по грязи — шесть с гаком, как говорят на Полтавщине. Вот теперь нам, пожалуй,годились бы ваши маринованные галушки.

— Я пойду пешком. Скажу там, чтобы прислали за вами... Не смотрите на мои туфли, я разуюсь!

— Сидите, сейчас что-нибудь придумаем.

Он заглушил мотор и закурил. Спичка озарила его широкоскулое, озабоченное лицо.

От накаленной за день земли густо парило. словно не ливнем похлестало ее, а горячим баннным веником. Лощина наполнилась теплым влажным туманом. Он ворочался, клубился, точно готовился к ночлегу в этой неуютной сырой низине.

Григорий, попыхивая огоньком папиросы, молчал. Докурив, щелчком отправил в темноту окурочок, красный пунтир чиркнул в тумане и пропал. Затем включил подфарники и задний свет: «Как бы кто рогами не врезался в доски или радиатор!» И вылез из кабины, звучно захлопнув за собой дверцу. Обошел машину, остановился у Любиной подножки.

— Ну, вы сидите, а я потопаю. Трактор пригоню. Час туда, час — обратно. Не боитесь?

— Нет.

Чавкающие шаги Григория долго слышались во влажной темноте. Потом они растворились далью. И как-то явственнее проступила тишина безлунной ночи. Слышно стало, как капала вода с мокрых досок. В небе проявились робкие звезды. То в одной, то в другой стороне вдруг запевал жаворонок, словно опьяненный ливневой свежестью. Удивительная птица-жаворонок: в степи он раньше всех просыпается и позже всех засыпает. Вокруг темно, а он сидит под кустиком ковыля и самозабвенно рассыпает трели. Как только

появятся первые лучи, вспархивает, сияя белокаемчатыми крыльями, и набирает, набирает высоту, наверно, очень ему хочется поскорее увидеть солнце.

Сейчас Люба по-своему воспринимала внезапное пение жаворонков: скучно им, страшно сидеть в одиночестве, когда в траве все время что-то шуршит — то ли хитрая лисица подползает, то ли просто ветер качает сухие верхушки ковылей... И встрепетается, поκληчет песенкой малая птичка — отзовись, душа живая, чтобы не так страшно было! И, глядишь, откликнется ей другая, третья серенькая хохлатая птаха. Светлее, радостнее жить, когда рядом друзья, близкие...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Проснулась Люба рано — заря еще только-только высветлила окна. Проснулась, наверно, оттого, что спала не на привычной жесткой койке в студенческом общежитии, а на мягкой жаркой перине. Хозяйка уложила ее на свою широкую кровать под двумя мужскими портретами, украшенными бумажными цветами. Такие большие фотографии в рамках обычны для деревенских горниц, на них, как правило, изображены подретушированные до неузнаваемости муж и жена в нарисованных фотографом сверхэлегантных костюмах и галстуках, кои, возможно, и не снились хозяевам портретов. А здесь женщины не было. Люба еще ночью, когда приехали, обратила на это внимание. Слева, в казачьей фуражке, заломленной набекрень, красовался бородач с унтер-офицерскими нашивками на погонах. Рядом немолодой уже красноармеец в пилотке со звездочкой.

Быстро светлело. Верхние звеньишки окон слабо подрумянились, будто их накаляли на медленном огне.

У противоположной стены, на такой же высокой кровати, как у Любы, зашевелилась Анфиса Лукинична. Села, спустив на домотканый коврик босые ступни, опутанные толстыми бугристыми венами. Широко, сладко зевнула и перекрестила рот. На руке, которой хозяйка обмахнула рот, не было пальцев, лишь торчали короткие обрубки. Люба поняла, что Беспалая — это не фамилия Анфисы Лукиничны, а прозвище.

Вчера, когда трактор вытащил автомашину наверх, Григорий сказал: «Председатель велел вас к Анфисе Беспалой отвезти. Между прочим, ваши предшественницы тоже у Анфисы квартировали». Что он этим хотел сказать? Возле дома со старой тесовой крышей Григорий подрулил к воротам и, беря Любин чемодан, добавил: «Скучная персона эта Анфиса. У нее весь дом, говорят, ладаном пропах».

Никакого ладанного запаха Люба не почувствовала. Может быть, потому, что не знала, как ладан пахнет? Топленный воск от лампадки улавливался в воздухе... И нафталином припахивало от двух больших сундуков, что стояли рядом с голландкой.

Анфиса Лукинична, склонив голову, долго расчесывала длинные густые волосы. И была она похожа в эти минуты на скорбящую богоматерь. Вместе с тем угадывалось, что это истая уральская казачка, что в жилах ее подмешана кровь азиатского востока — смуглое лицо с крючковатым, чуть приплюснутым носом, разрез черных глаз удлинённый, не славянский.

Закрепив тяжелый узел косы шпильками, Анфиса Лукинична оделась, повязала голову темным платком и подошла к божнице, перед которой мерцал огонек лампадки, висевшей на двух тонких прозеленевших цепочках. Пошептала молитву, отбила несколько поклонов и, так ни разу и не глянув на квартирантку, вышла в кухню. Через некоторое время со двора донеслись мелодичные удары первых струй о донце ведра: хозяйка доила корову.

За открытыми, затянутыми марлей окнами слышно было, как просыпался поселок. Орали петухи, стараясь один перед одним. В соседнем дворе замычал теленок. Торопливо прошли женщины, переговариваясь хрипловатыми после сна голосами. Где-то на окраине татакнул тракторный пускач, и ему басовито ответил, заводясь, главный двигатель. Звякнули гусеницы. Может быть, это тот самый трактор, что вытаскивал вчера машину Григория? Наверно, направился в поле, зябь пахать...

Итак, пришел новый день на новом месте!

Люба откинула простыню и спрыгнула с кровати. Крашенные чистые половицы были прохладны. Люба с удовольствием прошла по ним к старому, испятнанному ржой трюмо, стоявшему в переднем простенке. Мамочка, до чего ж она тощая! Это все выпускные экзамены!

Хозяйка накормила Любу сочными горячими блинами на топленых сливках, напоила чаем. Рассказала, как найти медпункт. Прежде чем уйти, Люба достала со дна чемодана толстую тетрадь в черном коленкоровом переплете. В эту тетрадь она намеревалась заносить все, что требуется для диссертации.

Шла она по поселку и всем своим существом ощущала липкие, любопытствующие взгляды. Смотрели на нее из окон, из калиток, с завалинок. Чувствовала, как прилиwała к ее щекам и отливала кровь. Зная старый деревенский обычай здороваться с каждым встречным, знаком он или не знаком, Люба первая легонько склоняла голову и перед молодыми и перед пожилыми. Возможно, этого обычая здесь давно не придерживаются, как, например, в новых совхозах, где живет почти одна молодежь, но лучше все-таки поздороваться — голова не отвалится, язык не отсохнет, как говаривал ее дедушка. Зато приятно было видеть, как охотно и даже чуточку с удивлением ей отвечали. Потом спрашивали друг у друга: «Кто такая?» — «Новый врач!» — «А-а!..»

Лебяжий, небольшой поселок — дворов сто пятьдесят, зеленый, многие дома под шифером. Стоял он как бы на полуострове: в старицу Урала под острым углом врезалась та самая речушка, которую они не смогли «проскочить» с Григорием. Дальше начинался пойменный лес. Очевидно, где-то еще дальше протекал Урал. Она видела эту быструю реку только из окна вагона, когда поезд проносился по длинному гремячему мосту.

Помещение участковой больницы было чистое, хорошо побеленное. «В общем-то, в общем... этот Лебяжий не так уж плох, на первый взгляд», — заключила Люба.

В приемном покое Любу встретили сдержанно. Немолодая фельдшерица с воспаленными глазами (плакала или засорила чем-то?) представилась: Лаптева! Из-под марлевой косынки выбивались кольцами

седеющие волосы, напоминая дым. Ровным деловым тоном она представила также сестру, санитарку и доложила:

— Больных сегодня не поступало. Из четырех коек стационара занята одна. Бодров Иван. Фуражир. Двадцати восьми лет. Женат. Трое детей. Хронический случай.

— Что с ним?

— Никак не можем определить. Три раза в район направляли — возвращают, ничего не находят. Задыхается, на сердце жалуется. Вторую неделю лежит. — Посчитав, очевидно, что деловая часть окончена, Лаптева заговорила иным, чисто «бабьим» голосом: — Трудно у нас, Любовь Николаевна. Пять лет живу тут, а так-таки и не поняла лебяжинских людей. Редко кто обращается к нам.

Люба надела халат. Санитарка завязала ей на спине тесемки, подала накрахмаленный колпак с красным крестиком. «Все начинается неплохо, — подумала Люба. — По-настоящему!..» Главное, она не видела в глазах подчиненных недоверия. В них скорее — любопытство и уважение. Уважение не к ее особе, вероятно, а к ее званию, к ее знаниям. Когда она предложила пойти посмотреть «хронического» больного, то и тут не заметила на лицах медперсонала скепсиса, который больше всего уязвляет самолюбие новичка. Может, в душе и сомневались в ней эти женщины, может, посмеивались над ее решительностью — ведь в район человека возили, а она... — но виду не подавали.

В узкой невысокой палате лежал на койке полный мужчина в полосатой больничной пижаме и читал

книгу. За распахнутым окном краснели головки георгинов с каплями дождя на лепестках, со вчерашнего ливня. В гнезде над карнизом безумолчно чирикали подросшие птенцы воробья.

Люба поздоровалась. С профессиональным спокойствием (а сердце колотилось, а душа волновалась: первый больной, ее больной!) спросила, на что жалуется Бодров. Он посмотрел на нее усталым взглядом: дескать, как вы мне все надоели! — с неохотой обнажился до пояса. Люба приложила к его широченной спине фонендоскоп. Через гибкие шнуры долго ловила шумы сердца и легких. Так же долго прослушивала грудь спереди. Потом измерила давление, сосчитала удары пульса, глядя на секундную стрелку своих маленьких часиков.

Наконец Люба начала сматывать шнуры фонендоскопа и прибора для измерения давления. Под ее ресницами поблескивала лукавинка.

— Одевайтесь, Бодров! — Люба подошла к окну — птенцы перестали чирикать, предупрежденные коротким треском старого воробья в шоколадной шапочке. — Не знаю, что же с вами делать, Бодров?.. Состояние у вас крайне тяжелое, если не сказать большего... Лежать вам здесь бесполезно. Пока что мы вас выпишем. Будем искать радикальные меры лечения... Иначе! — Люба многозначительно замолчала.

Успокоенный тишиной воробей вспорхнул — тополиная ветка качнулась вслед за ним. Люба проследила за его полетом: будто с горки на горку скатывался. Направилась к двери. Прикрывая ее за собой, довольно громко шепнула спутницам:

— Через месяц может скончаться...

Неосторожно сказала! В приемный покой ворвался Бодров.

— У меня рак, доктор?! Честно, доктор!

— Хуже, товарищ Бодров.

Мужчина обмяк. Опустился на стул.

— Я так и знал. Как дала жизнь трещину в детстве самом, так и...

Рыженькая медсестра фыркнула и отвернулась, виновато покосилась на серьезную Любу. Зато Лаптева поглядела осуждающе.

— Не отчаивайтесь, товарищ Бодров. — Люба поискала в столе штамп для рецептов. Подышав на него, приложила к чистому листку. — Будем принимать меры. Идите одевайтесь, а я пока выпишу рецепт. Если не полегчает, то придете через неделю.

— Эх, сколько я всяких-разных лекарств, докторша, переглотал! В животе у меня целая аптека.

Он сходил переоделся, без всякого воодушевления сунул рецепт в карман и, вместо «до свидания», безнадежно махнув рукой, вышел на улицу.

Вот теперь и Люба посмотрела на смешливую сестру, но не карающе, а с улыбкой. И все-таки Лаптева сочла нужным сделать внушение юной медичке:

— Дома с парнями можешь хихикать, Таня, сколько заблагорассудится. А здесь больница, и больному человеку не до зубоскальства медперсонала.

— Ну, Анна Семеновна, — запальчиво оправдывалась Таня, — ну, он такой... У него жизнь дала трещину! У него в голове трещина!.. Вы знаете, — она повернулась за сочувствием к Любе, — он, Любовь Николаевна, в детстве упал в колодец. С тех пор так и остался каким-то наивным, как ребенок. Когда женился, то жена оказалась не такая. Как выпьет, так избивает ее. А уже троих детей нажил!

Лаптева недовольно потрянула своими дымными кольцами волос:

— Все это ни к чему Любви Николаевне! Скромность, к тому же, надо иметь.

— А чего особенного?! — обиделась Таня. — Я в конце концов медик! И Любовь Николаевна — тоже. Скучно только о прививках да детском поносе говорить.

Чтобы Лаптева не заметила ее улыбки, Люба опустила голову: ей нравилась эта непосредственная рыжеволосая сестричка. Она любила людей веселых, живых: с ними чувствуешь себя проще, в их душу, как в открытое окно гляди — ничего не скрывают.

— Давно вы медсестрой работаете, Таня?

Девушка вспыхнула:

— Разве я сказала, что мне моя работа не нравится? — Она решила, что врач не одобряет ее поведения. — Ну, два года в конце концов!

— Сейчас я познакомлюсь с нашим больничным хозяйством, а после обеда, Таня, мы пойдем с вами по Лебяжьему. Заглянем во дворы, сходим на ферму.

— С удовольствием! — успокоилась девушка.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

За полдня девушки побывали почти во всех лебяжинских дворах, в детясях, на ферме. Люба делала пометки в блокноте: там-то нужно прохлорировать уборные, возле детяслей оборудовать закрытый ящик для пищевых отходов, дояркам выхлопотать полотенца... Буднично, неинтересно. Но ведь вся жизнь может пройти в серых однообразных буднях, если их не украсить, если не любить своего дела!

— А где Бодров живет? В его дворе мы, по-моему, не были, Таня.

— Не были. У него жена чистюля, порядок любит...

— Все-таки... зайдем! — загадочно щуря глаза, сказала Люба.

Бодровы жили неподалеку от Анфисы Лукиничны. При нещадном августовском солнце их свежесмысленная мазанка сияла так, что глазам было больно. Оконные наличники выкрашены в необычный ярко-оранжевый цвет — ни у кого подобных не было. Двор чисто выметен, помои выплескивались не на улицу, а за небольшой банькой в яму, прикрытую старой дверью от сарая. На длинной бельевой веревке, как ласточки, покачивались деревянные прищепки, в дальнем конце они придерживали несколько детских трусиков и мужскую бязевую рубаху.

Из открытых дверей сенцев слышался разговор. Тонкий детский голосок спрашивал:

— Мам, а ты любишь папу?

— Люблю.

— Он же тебя наколотил!

— Ну и что ж... Я тебя тоже иногда хлопаю, а ты же любишь меня?

— Ты — понарошке, не сильно, а он...

Услышав шаги, в сенцах умолкли. Молодая женщина, согнувшись над корытом, стирала белье, полные руки ее до локтей были в пене. Рядом с ней, едва доставая до края корыта, полоскала какой-то махорчик девочка лет пяти. Хозяйка подняла на девушек испуганные глаза:

— Ой, уходите, милые, скорей уходите! Пока Ваня не вернулся. Он вас ищет, он вас убьет! Сроду таким не видела...

Люба заметила, как у встревоженной Тани слегка побледнели щеки, но, догадываясь о причине бодровской лютости, спросила с невинной веселостью:

— А что с ним?

— Господи! — всплеснула Паша мокрыми руками по клеенчатому фартуку. — Да вы что ж ему такое написали-то?! Сначала вроде бы ничего: принес с собой бутылку водки, выпил чуть ли не всю и давай плакать. Это просто ужас, когда мужик белугой ревет! Я к нему, а он: уйди, зрить ты не могу, мне все равно одному в яме лежать, все равно не нонче-завтра наперед ногами выволокете!.. Добилась, достучалась до него. Сунул он мне вашу бумажку! — Женщина тяжело и осуждающе вздохнула. — Прочитала и сразу скажи ему: ничего, слышь, смертного нет в ней, зачем ты реवेशь, глупая твоя башка?! Ты, говорю, хоть читал-то писанину или допрежь зенки залил! Взялся он клевать носом в рецепт, долго клевал, потом как вскочит — хлобысть меня по

скуле, — она притронулась пальцами к синяку у глаза, — хватать всю посуду со стола на пол, да в сенцы, да на улицу... Заррежу, орет, уничтожу!.. Разве ж так можно, милая докторша?!

— Что вы написали, Любовь Николаевна? — Таня уже горела от нетерпения узнать, что было в рецепте.

— Сейчас прочитаешь, милая! — многозначительно кивнула Паша, ополаскивая руки под рукомойником. Она принесла из горницы листок, держа его двумя пальцами за уголок. Так носят жабу — за кончик коготка. — Прочитай-ка вслух, а я посмотрю на докторшу...

— Читай-читай! — ободрила Люба.

Таня пробежала глазами бумажку, прыснула, не только лицо, но и шея ее стала малиновой. То и дело фыркающая от смеха, прочла:

«Товарищу Бодрову И. В.

Рецепт на ближайшие пять лет:

1. По утрам принимать только простоквашу.
2. В горизонтальном положении находиться не более восьми часов в сутки.
3. Ни в коем случае не избегать физического труда.
4. Перед сном обязательно делать пешие прогулки до кладбища и обратно.
5. И тогда Вы забудете, с какой стороны у Вас сердце, обретете ту спортивную форму, которую имели в юности.

Врач Устименко.

Август, 1965».

Таня смеялась заливисто и звонко, как школьница. Бурно восторгалась:

— Вот здорово! Ох и здорово, Любовь Николаевна! А мы с ним нянчились.

Здрав к Тане головенку, девочка тоже закатывалась в смехе, хотя и не понимала, почему девушке так смешно. Не удержалась и хозяйка — улыбнулась. И Люба увидела, какое у нее хорошее русское лицо, какие ясные и мягкие глаза.

— Вы меня извините, — сказала она как можно мягче. — Такого я, конечно, не ожидала. Посуду я — с первой полочки... Но ведь его ничем другим не излечишь! Поменьше есть и лежать, побольше трудиться — вот единственное лекарство.

— Да уж ест он — как за себя кидает! Успевай подавать.

— Ну вот! А вы лично — извините, очень сожалею, что он вас...

— Да ладно, что уж... Он такой буран, если разойдется! — Тревожно прислушалась: — Он! Говорила вам...

Хлопнула калитка. Мотнулись на веревке трусики и рубашка, завертелись прищепки. Тяжелые неровные шаги приближались к сенцам. Расхлябанный, гутнивый голос грозился:

— Я им, мать-перемать... Я их...

— Прячьтесь, девочки! — торопливо шепнула Паша. — Сюда, в чуланчик!

— А зачем? Поговорим, — с деланным спокойствием сказала Люба, а по спине — мурашки, мурашки. Страшновато перед пьяным верзилой оказаться, но и

прятаться стыдно. Вызывающе повторила: — Поговорим!

— О господи!

Хозяйка втокнула девочку в избу. Таня на всякий случай отступила за дверь. Храбрясь, Люба осталась на месте.

Бодров сначала опешил от неожиданной встречи. Вероятно, полагал, что ему померещилось спьяну. Но потом ликуяще взревел:

— Ага-а! Попались! Издеваться?! Над честным колхозником шуточки?!

Широкой потной лапищей он цапнул Любу за руку, крутнул, стиснул так, что Люба тихонько ойкнула. Растопыренную пятерню занес над головой. Паша вскрикнула: «Ваня!» — и в ужасе прижала к полуоткрытому рту пальцы. Таня решительно выдергивала из скобы тяжелый дверной засов.

Все это было настолько диким, нелепым, невероятным, что Люба, сгибаясь всем телом, расхохоталась. Этот внезапный хохот ошеломил Бодрова. Он опасливо оглянулся и опустил занесенную руку. А пальцы другой руки медленно разжал на Любином запястье.

— Ненормальная! — выдохнул он.

— Не я ваша жена, Бодров, я бы вас воспитала, — Люба подвигала занемевшей кистью. Она готова была разреветься — прикусывала зубами то верхнюю, то нижнюю губу. — Не я ваша жена... Раскормила гладкого, он и тешится! При матери своих детей, при девушках вульгарщину, матерщину... Надо было вам не

простоквашу, а лошадиную дозу касторки выписать, чтобы вас целую неделю...

Фыркнула, не удержавшись, Таня, Бодров вздрогнул, повернулся всем туловищем. Танины рыжие глаза излучали бесовское веселье, ее маленькая рука сжимала засов, совсем недавно вытесанный Бодровым из вязовой лесины.

Пьяный мозг — что брус серого мыла. И все-таки и в этом бруске что-то сдвинулось: Бодров торопливо покосолапил в избу, вжимая голову в плечи. Может быть, он ждал удара засовом?

— Ненормальные... Над честным тружеником...

— Ф-фу! — облегченно выдохнула Паша, когда он скрылся. — Столько я страху натерпелась через вас, охальниц... Ну, идите, неровен час — вернется. Это еще не все, это еще цветики! А завтра я его опохмелю, с кирпичом прочищу...

Девушки попрощались и ушли. Таня все взглядывала на Любу и прыскала.

К вечеру о новой «докторше» говорил весь поселок. Говорили всякое. Даже Анфиса Лукинична, как показалось Любе, встретила ее с печальным укором в черных глазах. Но ничего не сказала.

Когда на окраине поселка заворковал дизель электростанции и зажегся на столбах свет, Анфиса Лукинична ушла к соседке за опарой и засиделась там.

Люба села за стол написать письмо. Придвинула лампу под зеленым абажуром — студенческий подарок в день рождения. Никак не могла начать — что-то отвлекало. Репродуктор! Старческий голос зоотехника

скучно пропагандировал искусственное осеменение овцепоголовья. Люба выдернула вилку из розетки. «С первой полочки куплю транзистор!» — сердито решила она, усаживаясь на место и берясь за авторучку.

«Здравствуй, Лариска!

Пишу тебе наконец с точки приземления. Ты просила описывать все-все. Пишу все! Начну с главврача района. Неприятный тип, скажу тебе откровенно. Снисхождение, начальственная спесь cedятся из каждой его поры...»

Открытые во двор окна втягивали вечернюю свежесть. За марлей нудно звенели комары — вода и луга рядом. У калитки тенькнул велосипедный звонок, наверное, нечаянно задетый. Так коротко звякал звонок в коридоре, когда папа приезжал с поля домой...

Послышались быстрые легкие шаги. «Таня, что ли, надумала?» — недовольно поглядела в темноту Люба. В ту же секунду за стеклом в верхней части окна, не затянутого марлей, появилась рука. Пальцы постучали по переплету рамы.

— К вам можно, Любовь Николаевна?

В окне — молодое улыбающееся лицо мужчины, волнистые волосы. «Как ночной жучок на свет! Запланированный визит местного сердцееда?..»

— С вами плохо?

— Хе-хе! Вы шутница, товарищ Устименко! — Он скрылся в темноте и вскоре переступил порог горницы. Бегло глянул на свежeweымытые полы, быстро нагнулся и снял с ног полуботинки.

— Цени труд уборщицы! — написано у нас в школе. — А я к этому и супругой приучен. Итак,

здравствуй, Люба! — Он протянул ей руку, и когда она недоумевающе подала свою, встряхнул крепко, по-мужски. — Думаю, будем не по протоколу официальных церемоний, а прямо сразу на «ты». Все равно придется рано или поздно перейти на «ты». Ученики зовут меня Владиславом Петровичем, а комсомольцы — Славой, Владей. Бери на выбор последние два! Фамилия — Острецов. Она лишь для того, чтобы объявлять: «Слово имеет товарищ Острецов!..»

Был он, пожалуй, на год-два старше Любы, хорошего, спортивного роста. Лоб высокий. Глаза веселые, живые. Такие легко сходятся с людьми. С такими не бывает скучно.

«Что ж, письма придется отложить до следующего вечера! Но цель визита непонятна. Женат, учитель... Что ему нужно?»

— Мне, дорогой Владислав, не совсем ясна цель твоего посещения. Я, конечно, польщена...

— Хе! Не удивляйся, Любовь Николаевна, я — комсомольский вождь здешних девчат и хлопцев. А коль появился на моей территории новый член ВЛКСМ...

— Понима-аю... Членские взносы у меня по август уплачены, Слава. Будешь чай пить? Хозяйка только что вскипятила... или... погода сегодня чудная, столько звезд...

— Я ценю твои предложения, Люба, но у меня — жена! — Острецов с притворным вздохом развел руками. — И даже сын есть. — Он сел на предложенный Любой стул и более пристально оглядел горницу: сундуки, большие кровати, зингеровская швейная

машина, лампадка, иконы, кожаная лестовка, похожая на миниатюрный патронташ. — Нравится тебе здесь?

— Рано жаловаться.

— Да-а... — По этому «да-а» можно было понять, что ему-то лично, Острецову, жилье не по душе. Но он не высказался откровенно. Наоборот, похвалил: — Главное, хозяйка одинокая... Никто не будет мешать. Будешь себе диссертацию пописывать!

«Откуда ему известно о диссертации? — удивилась Люба и тут же вспомнила Леснова: — Он сказал, что ли?»

Острецов посерьезнел. У его веселых глаз собрались морщинки, а углы сжатых губ опустились, будто отяжелели от несказанных слов. Губы походили теперь на тонкую скобку.

— Да-а... Не знаю, право, не знаю, что у тебя с диссертацией получится. Народец у нас... Прошлой осенью мне в полночь окна кирпичами повышибали. А в магазине, как на грех, стекла ни кусочка. И в колхозе — ни клинышка. Полмесяца подушкой затыкал незапроектированные форточки... Только когда газета стеганула по кооператорам — привезли целую машину. Все колхозники спасибо говорили. Вроде бы взаимовыручка: они мне окна расколотили, а я их за это стеклом обеспечил. Не знаю, чего бы я для них добился, если б они мне башку теми кирпичами расколотили...

Он улыбнулся, но не так, как прежде, а скучновато, натянуто. И Любе стало нехорошо на душе от этой улыбки. Она поняла, что не зря Леснов предупреждал ее насчет людей Лебяжьего, что она слишком беззаботно отнеслась к своему назначению сюда. И, пожалуй, чересчур легкомысленно поступила сегодня с Бодровым.

Острецов словно подслушал ее мысли.

— Вот и у тебя сегодня не очень-то здорово... — Он сочувственно смотрел на взволнованную, кажется, даже растерянную девушку. — Такое здесь не прощают. Тут любят, чтобы тихо, мирно. Казаки, одним словом, уральские. Яицкие. У них и песня ведь какая в старину была! Знаешь?

На краю Руси обширной,
Вдоль Урала берегов
Проживает тихо-мирно
Горсть уральских казаков...

— Не слышала? Ти-и-ихие! Ми-ирные! Сунь в рот палец — всю руку оттяпают... Но ты не дрейфь, Любовь!

Люба уже взяла себя в руки:

— Я сама просилась сюда. И пугаться не собираюсь, дорогой Острецов.

— Твое официальное обращение ко мне свидетельствует о том, что ты нервничаешь! — сказал Владислав. — Во всяком случае, я рад, что ты приехала. Нашего, как говорится, полку прибыло... Ну, ты, кажется, хотела чаем угостить? Нальешь чашечку? Уральцам ведь кислое молоко — казачья присяга. Урал — золотое донышко, серебряны краешки, а чай — забавушка утробная. Без чаю тут не садятся за стол.

Люба пожалела, что отвечала гостю довольно резко. Ничего плохого он ей не хотел, пришел познакомиться, предупредить. В конечном счете, ему действительно нелегко среди староверов.

Она поставила на керогаз чайник — подогреть, достала из горки чашки, сахарницу, свежее ежевичное

варенье. Анфиса Лукинична показала ей, где что хранится. Расставляя посуду, Люба говорила:

— Ты не обижайся, я иногда срываюсь, хотя и понимаю, что врач должен быть самым уравновешенным человеком на свете... Между прочим, позвал бы жену, познакомил нас. А то как-то неловко...

— Чепуха! Предрассудки. У меня жена без предрассудков. Да сегодня уже и поздно. Познакомлю, обязательно познакомлю.

— Ты крутой чай любишь?

— Погуще. Сердечную деятельность усиливает. Хозяйка у тебя, похоже, умеет заваривать — ах, какой ароматный дух! Я алкоголиком-чаевником сделался здесь...

— Знаешь, Слава, когда я выписывала этот злосчастный «рецепт» Бодрову, то надеялась, что пациент, конечно же, не оставит его без внимания и, в лучшем случае, посмеется над ним с друзьями. В худшем случае, как и получилось, я ждала скандала. Теперь в Лебяжьем, наверно, все знают, что появился новый врач Устименко, что врача этого еще и не понять: не то шибко умный, не то с дурцой...

— С белужинкой, говорят казаки, когда хотят о дураковатом человеке сказать. Боюсь предугадывать, Люба, чем кончится твой эксперимент. На меня, во всяком случае, можешь положиться. Этому народу мы не дадим спуску...

Неслышно вошла Анфиса Лукинична. Молча поклонилась Острцову и на кухне стала затевать тесто на завтра. С ее приходом разговор перестал ладиться.

Острецов торопливо допил чай и, пообещав Любе «стопудовую комсомольскую нагрузку», вышел. За окном тоненько звякнул звонок и зашуршали, удаляясь, велосипедные колеса.

Анфиса Лукинична пришла в горницу, стала собирать со стола посуду. Не глядя на Любу, тихо промолвила:

— Зря ты так, дочка.

— Как? — Люба почувствовала, как зажглись ее уши.

— Да вот так-то... Жена у него, мальчонка маненький. Про него и без того всякое мелют, а тут и ты, как муха в тенета... Уж ежели что — в другом каком месте, только в дом-то, дочка, не води...

— Да никого я и не вожу, тетя Анфиса! Неужели человеку нельзя просто так зайти?!

— Так и чирей не садится, дочка. И зачем же ты, милая, на меня кричишь-то? Я тебе вместо матери... А ты уж эвон как — кричишь...

— Простите, тетя Анфиса...

— Бог простит, дочка.

Заныло Любино сердце: вот и начинается то, о чем ее предупреждали!..

ГЛАВА ПЯТАЯ

Двор Анфисы Лукиничны своим огородом выходил прямо к берегу старицы. Помахивая полотенцем, Люба прошла между рядков сизой капусты с дырявыми, изъеденными тлей листьями, отвела руками понурые шляпки зрелых подсолнухов — некоторые были обмотаны тряпьем, чтобы не клевали прожорливые

воробьи. Остановилась на влажном мостке, с которого хозяйка черпала воду, поливая огород.

В двух шагах была жарница, а тут сумрачно и прохладно, как в колодце. Пахло карасями и припаленной листвой кудрявого тальника. Над головой в густых ветлах сонно каркали молодые грачи, мелодично позванивала синица. А у ног, под густой сенью верб, вода была черная, словно холодный шлифованный мрамор, какой бывает у богатых надгробий. На ней застыли желтые кувшинки. Чуть дальше, среди плоских лопухов, белели две лилии. Даже на первый взгляд они казались холодными и целомудренными, как первый снег.

«Мои будут! — обрадовалась Люба, стаскивая через голову тесное платье. — Я их достану».

С противоположного берега за ней наблюдал удильщик, сидевший на ведерке в тени краснотала. С приходом Любы у него перестало клевать, и он курил, не спуская с девушки глаз. Люба обмотала голову полотенцем, чтобы не замочить волосы, и осторожно вошла в воду. У дна вода была ледяная, видно, где-то близко выходили родники. «Еще судорогой сведет, — с опаской подумала девушка, чувствуя ломоту в ступнях и зная свои слабые способности пловчихи. — Лучше сразу поплыву, сверху вода теплая».

Она плыла, шумно бултыхая ногами и неуклюже загребая руками.

С мостика казалось, что лилии рядом, а когда поплыла, то выдохлась. Но тут, наверное, не очень глубоко, раз лопухи растут, они ведь всегда поближе к берегам жмутся.

Наконец первая лилия выросла перед глазами, с тонкими зеленоватыми прожилками в белых прохладных лепестках. С трудом вырвав ее и зажав скользкий стебель в зубах, Люба забултыхала к другой...

Насилу доплыла назад. Измученная, но довольная, села на мосток. Опустив ноги в воду, любовалась добычей. Прозрачные росяные капли удерживались только в желтом донце, а с тугих, будто навощенных, лепестков скатывались, не оставляя следа. Цветы почти не пахли, они чуть уловимо источали свежесть и прохладу, точно так пахнет после первой пороши.

— Любовь Николаевна-а! Где вы?!

Меж подсолнечных стеблей мелькнуло Танино платье: прыгая через грядки, она бежала к воде, коленками высоко взбивая подол. Подсолнухи, задетые ею, качали вслед рыжими головами. Остановилась запыхавшаяся:

— Вот вы где! Там вас... Главврач приехал. Велел позвать...

Люба воткнула стебель цветка в свои белокурые волосы и повела головой перед Таней, как перед зеркалом:

— Гарно?

— Чудесно, Любовь Николаевна!.. Там главврач... Злующий!..

— Возьми и себе приколи. В конце концов, как ты говоришь, мы не только медики, но и девушки...

Таня ткнулась носом в цветок, тихо засмеялась. Потом быстро сбросила легкое платьице:

— Пока вы одеваетесь, я искупнусь.

Проворная, быстрая, она ушла под воду, как щучка. Тело ее просвечивало сквозь толщу воды, уходя все дальше и дальше. Вынырнула она возле лопухов, где Люба сорвала цветы. А через полминуты вылезла на мокрые доски мостка. Отжала рыжие косички и крикнула удильщику:

— Как здоровье, товарищ Бодров?! Приходите на консилиум — главврач приехал!

Бодров швырнул в воду окурок, выдернул из ила конец удилица и, взяв ведро, скрылся в кустах. Там, где он шел, качались верхушки лозняка, показывая солнцу серебристую изнанку листьев.

— Разве это он был?

— А то кто же! Его фигурка. Гриша Карнаухов говорил ему: «Будь ты бабой, Ваня, твоя фигура представляла бы необъятные возможности для щипков. А уж коль ты мужчина, то ее можно лишь кулаками месить, как тесто...»

Люба засмеялась, вспомнив патлатого шофера с выгоревшими белыми бровями и вышелушенными зноем губами. Странно, что за несколько дней она ни разу его не встретила. В рейсе где, что ли?

Возле больницы стояла высокая коробка машины «УАЗ» — неотложная помощь. Люба иронически подумала, что это приехали ей, Устименко, безотлагательную помощь оказывать. И еще подумала: «Жмот! Свою машину не дал, на попутной отправил. Расшибался, грузовик искал...»

В небольшом Любином кабинете Леснов выстукивал пальцами по настольному стеклу. Когда мужчины

нервничают, они обязательно постукивают пальцами или курят. Главврач кивком ответил на Любино «здравствуйте» и глазами показал на свободный стул. Скользнул взглядом по цветку.

— Ну рассказывайте, Устименко, как вы тут лечите! — Он сделал нажим на слове «лечите».

— А як! Так и лечимо, як в институте учили. Кому горчичники, кому — слабительное... Разные ведь приходят.

Устименко явно издевалась над главврачом. Леснов встал и отошел к окну, не зная, что ответить. «Заднее правое подпустило, — механически отметил он, глядя на вездеход. — Надо подкачать... Сначала надо Устименко подкачать... С этим Лебяжьим никак не везет. У всего района точно бельмо на глазу...»

Повернулся к Любе, заложив руки за спину. Из-под черной сплошной линии бровей — такие же черные, маленькие глаза. Глаза в глаза. Черные против голубых, незащищенных. И черные, гипнотические, ушли вбок.

— Полагаю, кроме института должно что-то и тут быть. — Леснов постучал пальцем по виску. — Свое, собственное. Не для одного этого голова! — Он крутнул рукой над макушкой, изображая Любину прическу-башенку.

— Вы очень любезны, товарищ главврач района! — Люба чуть приподнялась и слегка поклонилась. — Чувствуется, что за вашими плечами громадный опыт по воспитанию молодых медиков.

Нет, это была не девчонка, которой можно запросто читать нотации, поучать, как рыженькую медсестру

Танюшу. Два года он учит ее правильно выговаривать греческие и латинские названия, а она все путает их: вместо «спиритус» говорит «спиртус», вместо «невроз» — «нервоз». Устименко не перепутает! И не позволит поучать себя с высоты положения главного врача.

И заговорил он совершенно другим тоном, какого Люба еще не слышала: мягким, спокойным.

— Это же Лебязжий, Люба. Понимать надо. Ваш злополучный «рецепт» лежит сейчас под стеклом у секретаря райкома. На ближайшем пленуме он покажет его с трибуны: вот как лечат наши уважаемые врачи, вот чем они занимаются, вместо серьезной медико-профилактической и лечебной работы! Ну, а до пленума мне на бюро шею намылят. Одним словом, начнут препарировать. Понимаете?

Люба мотнула головой:

— Нет! Если вас вызовут на бюро — возьмите меня с собой.

Леснов усмехнулся:

— Думаете, мне от этого легче станет?

— Я не о вас забочусь, Леонид... Леонид Евстифиевич. — Она вопросительно взглянула на него. — Я просто попрошу секретаря райкома, чтобы он дал мне рецепт, как лечить лентяев и лежебок. Таких, как Бодров. Может быть, он мне посоветует сказать Бодрову: кто не работает — тот не ест? Бодров уже пользуется пролетарскими лозунгами. Потребности его, правда, не идут дальше миски борща с куском говядины. А на это он с грехом пополам зарабатывает. Личная машина, телевизор, пианино — все это ему до

лампочки, как говорят студенты. У него уж и мозги жиром обросли. Так какой же ему рецепт выписывать, чтобы сердце не задыхалось в сале?

В кабинет то и дело заглядывали работницы больницы. Леснов приподнимал в их сторону ладонь: одну минуточку! И они удалялись: обычно суровый, даже резкий, главврач сидел сейчас не похожий сам на себя — тихий, присмиривший. Слушал Любу. Пожимал плечами. Что она ему такое говорит? Таня приникла ухом к двери — ничего особенного! О Бодрове. Дескать, лечить надо...

Леснов невнимательно слушал Любу. Он молча наблюдал за ней и пытался разобраться в новом враче. Сколько их, таких вот «современных», приезжало и уезжало, скольких время вычеркнуло из памяти... Возможно, и эта мелькнет и забудется? Возможно, и у этой пылу хватит только до крутых заморозков, а потом потянет к теплу, к городскому уюту? Оранжерейная она, Устименко, тепличная? Или... Подснежник тоже нежен и хрупок на вид, а не боится холодов, он прежде других цветов появляется, пробивая снежный наст... Пока что она возбудила лишь любопытство и смутную тревогу, заставила споткнуться на ровном месте и поднять глаза, оглядеться, увидеть в «медичке», подчиненной ему, нечто большее, значимое, чем он предполагал, читая две странички ее личного «дела» и выслушивая укоризненное замечание секретаря райкома, к которому попал «рецепт»: дескать, не занимаетесь, Леонид Евстифиевич, воспитанием кадров, хулиганят они у вас. А Устименко не хулиганит, она лечит, в первый же день выписав такой рецепт, о каком не помышлял ни один ее институтский преподаватель, и, может быть, именно

этот рецепт поставит лежебоку на ноги. Ведь, надо полагать, насмешники теперь проходу не дают Бодрову.

Пока что — любопытство и смутная тревога. А дальше? Что еще придумает врач Устименко? С ней интересно и поспорить и, наверное, помолчать. Красивая. Тонкая. Оттого высокой кажется...

И пришла ему неожиданная, смутившая самого мысль: а что если б он ей понравился?! Каким должен быть тот, который Любе понравится? Каким? Веселым жизнелюбом? Рассудительным философом? Отчаянным храбрецом? Или — таким, как он, Леснов, с металлом в голосе и дремучими сдвинутыми бровями на челе? Каким?

И, пожалуй, впервые он остро, с горечью ощутил свои годы — тридцать четыре! А ей? Двадцать три. Впрочем, к чему все эти мысли?!

— По крайней мере, я надеялась, — говорила Люба, — надеялась, что вы приехали оказать мне практическую помощь. Но никак не думала, что погнали вас сюда спешные поиски оправданий перед райкомом, Леонид Евлампиевич!

Тон, каким Люба искадила его отчество, вернул Леснова к действительности. Он усмехнулся: «Нарочно!.. А лилия в ее волосах все еще свежа».

— Вы уже бывали в бригадных поселках, Люба? — Нужно было думать о практической помощи.

— Пока нет.

— Они — тоже ваша зона. Может, проедем вместе? К вечеру вернемся. Я там давно не бывал.

Люба взглянула на Леснова. Из-под надвинутых бровей на нее пристально смотрели маленькие глаза. Выражение их было незнакомо, и это несколько смутило Любу. Она медленно высвободила цветок из волос, также неторопливо налила из графина воды в стакан и опустила в нее зеленый сочный стебель. Наклонила лицо над лилией, вдохнула ее запах, запах речной прохлады и свежести. Почудилось на мгновение, что она снова там, под густыми вербами, на мокром мостке... Подняла голову, отодвинула стакан и, щуря продолговатые подрисованные глаза, не отрывая их от лилии, сказала:

— Хорошо. Поедем.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Нет числа степным дорогам. Прямые, как по струне отбитые... Зигзагообразные, строго следующие за планировкой полей... Извилистые, петляющие, пропадающие в ковылях или у безымянной речушки... Особенно много дорог нарождается во время хлебоуборки. Нетерпеливый шоферской люд накатывает их где вздумается, лишь бы короче был путь к току, к комбайну. И нужно очень хорошо знать эти полевые шляхи, чтобы не заблудиться среди них.

Наверно, Леснов знал дороги, но Любу беспокоило то, что он откровенно дремал за баранкой. И она едва удерживалась, чтобы не толкнуть его в бок, когда впереди показывались или встречная машина, или развилка дорог. Но он именно в этот момент приоткрывал свои маленькие, глубоко сидящие глаза. Удивительнее всего казалось Любе то, что он даже небольшие ухабы заранее угадывал и мягко

притормаживал «УАЗ». Лишь запасное колесо в железной коробке кузова погромыхивало при встряске.

«Очевидно, не выспался, — подумала Люба. — Наверное, тяжелобольной поступил ночью. Хватает ему работы... Ну и спал бы, вместо того, чтобы ездить нотации читать!»

— Как это вы умудряетесь и спать и машину вести? — спросила она, несколько уязвленная его молчанием.

Леснов открыл глаза.

— Да я и не сплю... Так, подремываю слегка. В армии привык. Три года шоферил. И три года на целину ездил хлеб возить. А там почти круглыми сутками приходилось баранку вертеть.

— А я смотрю, вы все засыпаете и засыпаете.

— Засыпаю, чтобы проснуться старше и умнее. — Леснов усмехнулся. — Старше — да, а умнее — не замечалось... нравятся вам наши просторы?

Люба повела взглядом. Степь, степь, степь... И дороги, тропки: будто камчой похлестана равнина. Перебежит дорогу суслик, взвихривая легкий прах. Пронесется навстречу грузовик и окутает все непроницаемым облаком пыли. Перетертая тысячами колес пыль тончайшей серой пеленой осаждается на руки и лицо. Всюду одно и то же: степь и пыль.

Леснов не дождался Любиного ответа. Снова заговорил:

— Чтобы объехать наш район, нужно несколько дней затратить. Государство! — В его голосе проскальзывали

горделивые нотки. — До революции на всю эту территорию был один дипломированный фельдшер. — После паузы закончил: — Сейчас и врачей и фельдшеров много, а все равно не хватает. Особенно хороших, толковых нехватка. Многие уезжают.

— Создавайте условия...

— Условия! Вас не устраивают ваши условия?

— Сами же рассказывали всякие ужасы о Лебяжьем.

— А кто с ними бороться будет, если не вы, молодой специалист, не другой, не третий? У вас, в Лебяжьем, один Острцов не складывает оружия...

Они надолго замолчали.

Встретился на своем «газоне» Карнаухов. Удивился, узнав Любу с Лесновым. Его белые брови на секунду вздернулись, но потом разъехались в улыбке. Высунулся из кабины, помахал...

В бригадных поселках было домов по двадцать-тридцать, жили здесь, в основном, животноводы. По окраинам тянулись низкие длинные кошары и коровники с узкими, как амбразуры, окнами. Леснов расспрашивал колхозников о хозяйственных делах, проверял, есть ли на фермах аптечки, говорил «до свидания» и садился в кабину. Он считал, что главное должна будет делать Люба. Поэтому несколько раз напоминал ей об организации профилактической работы.

— Самое серьезное внимание обратите, Люба, на технику безопасности. Машин, механизмов много в колхозе, а люди не всегда осторожны при обращении с ними...

— Спасибо, учту, — великодушно согласилась Люба, не сказав, что в институте она это самое слышала раз сто.

В Лебяжий Люба возвратилась под вечер.

Леснов запыхал на «неотложке» домой, а она забежала в больницу. И в это время к больнице с оглушающим треском подлетел мотоцикл. Парень в одних трусах, с мокрыми взлохмаченными волосами ворвался в приемный покой:

— Где доктор?! — Вероятно, его вытаращенные глаза ничего не видели. — Лешка утонул! Скорее!

Люба взглянула на Лаптеву. Та покачала головой. Утопленников Лаптева боялась с самого детства. Семилетней девчушкой она увидела однажды на берегу распухший страшный труп...

Парень побежал впереди Любы, громко шлепая босыми ногами по крашеным половицам. На досках оставались его пыльные следы: большой палец далеко оттопырен от остальных. Села на заднее седло — мотоцикл рванулся к старице.

Не доехав до берега, мотоцикл забуксовал в глубоком песке. Водитель выругался, а Люба соскочила с седла и, черпая босоножками горячий песок, побежала к тому месту, где толпились мальчишки и женщины. Среди них возвышался долговязый парень. Мокрые сатиновые шаровары облепили его длинные худые ноги, а голое до пояса тело покрылось синими пупырышками. Видать, парень долго пробыл в воде. Люба узнала в нем Таниного ухажера Генку Раннева.

— Где пострадавший? — спросила она запыхавшись.

Люди не ответили ей, не расступились. Молча смотрели они на воду. В старице трое или четверо парней без передышки ныряли и ныряли в глубину. К берегам расходились медленные круги, гасли в камышах.

Заговорил наконец Генка. Подбородок у него зябко дрожал.

— П-понимаете... Приехали мы из бригады. Разделся он и с разбегу — бултых... И все! Он всегда... с разбегу и... почти на той стороне выныривал... А тут — нет и нет. Испугались мы... искать начали...

Любе подумалось, что трудно закончится ее сегодняшний день. Спросила:

— Давно ищете?

Генка посмотрел на циферблат часов. Под стеклом блестели капельки воды. Тряхнул рукой.

— Остановились. Я в них нырнул. Десять минут шестого было...

Любин миниатюрный кирпичик показывал ровно шесть. Она вздохнула:

— Теперь моя помощь бесполезна.

Люди на берегу зашевелились, вплотную придвинулись к воде, зашептали со страхом и надеждой: «Нашли! Нашли!..» Генка с остекленевшими глазами бросился навстречу двум парням. Неуклюже загребая, они подплывали к берегу, между ними было запрокинутое белое лицо. Бережно вынесли Лешку из воды, опустили на песок. Стали откачивать.

Люба не могла смотреть на то, с каким усердием парни старались спасти товарища.

— Перестаньте! — негромко сказала она. — Вы ему руки вырвете... Теперь бесполезно. Час прошел.

Генка на мгновение перестал разводить и сводить руки друга, с ненавистью взглянул на Любу:

— Много вы знаете! И через полтора часа можно откачать...

Протолкалась сквозь толпу растрепанная, обезумевшая от горя женщина, упала на колени, обхватила голову паренька, запричитала, заголосила так, что у Любы мурашки по спине побежали. Люба повернулась и пошла к поселку. И чувствовала, что провожают ее недобрые тяжелые взгляды и не щадящий шепоток женщин...

Часом позже зашелестело по Лебяжьему, зашамкало старушечьими ртами: «Врачиха-то, врачиха, к Лешке и не прикоснулась даж! А ить он, может статься, еще живой был... Это куда ж начальство смотрит, кого шлют нам?!»

Тяжело было на душе. Впору собрать чемодан и... пусть тот же Гриша Карнаухов увезет ее назад, в город. Гриша... Тогда, в степи, встретив ее с Лесновым на «неотложке», улыбнулся вроде бы добродушно, дружески, теперь же его улыбка казалась двусмысленной. Да, Гриша отвез бы, но с какой неприязнью смотрел бы на нее! Леснов — тоже. Сказал бы, хмуря брови: «До заморозков завяла?»

Дудки! Она, Люба, знала, куда ехала и зачем ехала. Хотя настроение у нее, конечно, прескверное...

В эту ночь она долго не могла уснуть. Услышала, как прошаркала мимо окон Анфиса Лукинична. «Где так допоздна засиделась?» Хозяйка зажгла в кухне свет, неторопливо поужинала. Чему-то своему вздыхала и даже головой покачивала — Люба видела это в открытую дверь. «Может быть, у той женщины была, у которой сын утонул? Ничем люди не делятся с такой охотой, как горем... Жалко того паренька, страшно жалко!» Люба не могла вспомнить лица его матери, а вот самого тракториста запомнила, наверно, на всю жизнь: на белом заостренном подбородке, еще не знавшем бритвы, черная полоса мазута, в русых густых волосах — зеленые водоросли, рот приоткрыт, как у спящего ребенка...

Анфиса Лукинична потушила в кухне свет и, войдя в горницу, начала раздеваться. Белым привидением остановилась перед божницей, замахала рукой, шепча молитву. Слабый свет лампадки едва окрашивал ее суровое сосредоточенное лицо. Потом легла, перекрестив подушку, и опять вздыхала и ворочалась.

— Тетя Фиса...

— Ты ай не спишь, дочка? Что тебе, милая?

— Тетя Фиса, вот вы всегда одна, одна... Трудно человеку быть одному. Как вы переносите это, тетя Анфиса?

Та легла поудобнее, подвернула под себя одеяло.

— А я извеку, доченька, не была и не бываю одна. Я завсегда ежели не с богом, так с людьми. Человек один не может жить. Один только бирюк живет, да и он воет, с тоски, поди... Ты не печалься, милая, не убивайся. По темноте своей нутрянной, по горячности необъезженной

народ обижают друг дружку. А ты обиды не копи, дочка: нет у лебяжинцев злобы долгой, не таят они ее под сердцем. Отходчивы наши люди, оттого и несправедливость всяческую терпят...

— Какую несправедливость? — Люба приподнялась на локте и, подперев щеку рукой, через комнату уставилась на хозяйкину кровать.

— Всяческую, дочка. На свете еще много несправедливости.

— Тетя Фиса, вот когда вы молитесь, то, я слышу, упоминаете слово «коммунизм». Ругаете, что ль, его?

— Вот уж скажешь, доченька! Окликаю его, зову.

— Зовете?

— Конечно. Таким, как я, он сильно нужен, более, чем вам, молодым, хочется пожить, чтоб никто тебя ни словом не ударил, ни слезе твоей не возрадовался. Ведь голодных у нас, слава те господи, боле нет, а людей злых, недобрых полно. Да и шепотком я с богом-то. Это вон Острецов... подвильнет языком с трибуны — и хорош, в президиум его. А он, ваш Острецов, пирог ни с чем. — Анфиса Лукинична помолчала, вздохнула длинно. — Бог-то ныне и ни к чему вроде, но и без него боязно как-то. Темная уж больно я, всякого старого обилья много во мне...

— Я и не осуждаю вас, тетя Фиса, — тихо отозвалась Люба. — Только насчет Острецова вы напрасно так строго. Вот у вас же, сами говорите, есть недостатки. Так и у него, и у меня, у каждого... А в целом-то мы коллектив, и цель у нас одна. И у Острецова — тоже.

Хозяйка снова вздохнула.

— Вертится он, как бес, а повертка все в лес...

Она повернулась к стене и задышала ровно, спокойно. Умеют крестьянские женщины вот так засыпать — сразу, глубоко, без сновидений. Это, вероятно, потому, что никакая другая женщина не встает так рано, как деревенская. Уж ей-то никак нельзя понежиться часок-другой в постели: до восхода солнца поднимают ее хлопки пастушьего бича. И пока он дойдет до ее двора, она должна успеть выдоить и выгнать корову за ворота...

А Люба все не могла уснуть. Она до боли, до рези в веках зажмуривала глаза, а сон витал где-то в стороне. Иначе увидела она в эту ночь свою хозяйку Анфису Лукиничну.

Наконец Люба стала засыпать, то и дело вздрагивая, просыпаясь. Было, наверно, часа два, когда услышала короткий, но решительный стук в окно.

— Опять, поди, за тобой, дочка, — сонно промолвила Анфиса Лукинична. — Ох-хо-хо!..

Не зажигая света, Люба на ощупь торопливо оделась, нашла балетку с инструментами и медикаментами. Натыкаясь на стулья, вышла из избы.

Ночь была темная, непроглядная, как в осеннюю ненастную пору. Ни звездочки в небе, ни петушиного крика над поселком, ни людского голоса. Только комары звенели у самого лица да возле калитки слышался шорох.

Люба пошла на этот шорох, потому что разглядеть даже собственную руку было нельзя.

— Что случилось? — вполголоса спросила она.

— Вы нужны, Любовь Николаевна...

Ответили ей шепотом и как-то неестественно, словно говоривший сдерживал смех. Люба приостановилась в нерешительности. В ту же секунду сильные руки обхватили ее, стиснули, на своем лице она ощутила горячее шумное дыхание, разящее табаком и водкой. Небритый подбородок будто наждаком царапнул Любину щеку.

— Единый разок поцелую — и все!.. Единый, Люба... Не веришь... Единый!

Лишь в первое мгновение оцепенела Люба от страха, а в следующий момент с яростью оттолкнула мужчину, и, размахнувшись, что было силы трахнула балеткой по его лицу. Мужчина вскрикнул, в балетке дзыкнуло лопнувшее стекло ампул и пузырьков. А Люба еще и еще была по тому месту, где должно было быть лицо хулигана. С ненавистью, со злыми слезами повторяла:

— Хам! Хам! Хам!..

Остановилась, когда балетка прочертила пустоту. В темноте слышался топот убегающего человека. Люба с трудом добрела до завалинки и, упав на нее, навзрыд расплакалась.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Шла в Лебяжье осень. Она еще только чуток коснулась деревьев, но листья на них уже тронулись кое-где желтизной. По утрам на огородной ботве появлялся иней, вода в старице становилась холодной и прозрачной — можно было на самой глубине считать янтарно-зеленые ракушки и прослеживать замысловатые бороздки, оставляемые ими на донном

песке. Убывали дни, все раньше и раньше приходили к порогу сумерки.

Вот и сегодня. Еще только семь вечера, а уж солнце притомилось, упало за лесом на той стороне старицы. Лишь его нежаркие лучи, словно пальцы в волосах, путались в прохладной листве деревьев, золотили донца высоких облаков. Легкие синеватые сумерки, какие бывают весной после таяния снегов, начинали окутывать завалинки, кусты низкорослой акации и смородины в палисадниках, за идущими с пастбища коровами втекали в растворенные калитки.

В горнице сгущался мрак, но Люба не зажигала огня. Положив голову на край стола, она слушала далекую нездешнюю музыку. Может быть, с Гавайских теплых островов, может быть, с экзотических берегов Кубы нес вечерний эфир грустный, задумчивый наигрыш гитары и аккордеона. Когда музыка умолкала, Люба придвигала к себе транзистор и вертела рукоятку настройки, отыскивая негромкую интимную мелодию. И снова клала голову на край стола, мечтала.

Просидела бы весь вечер так, не зажигая света, не выключая транзистора, но через час — лекция. Она, Люба, будет читать лекцию о вреде знахарства. Так решил Владислав... О лекции не хотелось думать, и без того ей несколько вечеров отдано — подбирала литературу, писала тезисы...

— Анфиса Лукинична, Люба дома?

Не слышно было, что ответила Острцову хозяйка, убиравшаяся во дворе. Торопливо хлопнули одна за другой двери, в задней комнате скрипнули половицы

под решительными быстрыми шагами. Люба неохотно поднялась навстречу Острцову:

— Еще же рано, Слава...

— Три минуты на сборы! — сказал он. — Жду у ворот.

Повернулся, ушел. С улицы сразу же затарабанил велосипедный звонок.

— Скоро ты там?! Ох, уж эти модницы...

Люба на ходу надевала шерстяную кофту:

— Как на пожар...

— Садись на багажник и держись крепче. — Он оттолкнулся ногой, и велосипед легко покатился вдоль улицы. — Не гневайся, Любовь. Там же у меня еще Нина, ее тоже не вдруг с якоря снимешь. Знаю я вас!

— Ты вообще очень много знаешь.

— Еще бы. Диплом с отличием. Имей в виду.

— Хвастун.

— Ты видишь во мне только слабые стороны. Недооценка сил и возможностей соперника всегда влечет поражение, Люба. Имей это в виду.

— Ладно! — засмеялась Люба, совершенно не предполагая, что Владислав как бы предостерегал ее на будущее. Вспомнились его слова много-много позже.

— Ты лекцию, случайно, не забыла взять?

— Слава, ты просмотри ее дома, а? Может, что-нибудь подскажешь...

— Зачем портить себе эффект?! Не люблю этого. Вот если кто-то расскажет заранее содержание кинокартины, то ее и смотреть потом неинтересно.

Шелестели шины велосипеда. Мелькали мимо то черные окошки изб, то яркие, светящиеся. На завалинках сидели старики, приподнимали шапки, здороваясь с Владиславом. На Полтавщине, помнила Люба, старики тоже сидели по вечерам на скамеечках и чадили самосадам на всю улицу. А тут почти ни у одного не увидишь в зубах самокрутки. «Староверы! — решила она. — Надо об этом упомянуть в лекции...» Встречная молодежь кричала Владиславу «Привет!», женщины легонько кланялись. «Уважают его здесь! — чуточку завистливо посмотрела Люба на широкие плечи Владислава, на его каштановые волнистые волосы. — Весь он какой-то ладный, притягательный. Бывают же удачливые люди!..» Она едва не расхохоталась, увидев, как торопливо перекрестилась согнутая, словно улитка, старушонка, провожая их взглядом. Снова перекрестившись, поползла дальше, опираясь на клюку. «Антихриста встретила, богохульника!»

— Ты что там замолчала, Любовь?

— Думаю.

— О чем, если не секрет?

— О твоей жене. Она у тебя красивая? Я ее только мельком видела.

— Говорят, красивая. Но я привык. Куда ж денешься!

Люба рассмеялась:

— Я вот ей скажу.

— Э, доктор, у Ниночки — сердце! Запомни и заруби... — Он затормозил: — Приехали. Попробуй только наябедничать! Тогда и за проезд на велосипеде не рассчитаешься.

Нина оказалась полненькой большеглазой брюнеткой. На ее милом круглом лице были, казалось, только огромные глаза да густые пушистые ресницы. С такими глазами в киноактрисы идти, а не в преподаватели алгебры и геометрии! Владислав представил ее Любе:

— Мое ненаглядное пособие, сиречь — супруга.

— Знаете, что Слава о вас сказал? — Люба лукаво взглянула на нее.

— Что? — живо отозвалась Нина, пряча в сумочку платочек.

— Лю-у-ба-а! Врачи по закону должны хранить профессиональные тайны. И потом, как секретарь комитета комсомола, требую...

— Наверно, как всегда, ругает? — сказала, улыбаясь, Нина. — Это он, чтобы никто не польстился на его жену. Феодал! Ужасный феодал...

Шутливо перебраниваясь, смеясь, дошли до клуба. На улице еще было светло, но над входом горела большая лампочка-пятисотка. На ее огонь шли и шли люди. Толпились у входа, курили, щелкали семечки, рассказывали анекдоты, хохотали...

— Видишь, сколько народу на твою лекцию явилось, — шепнул Любе Владислав.

Острецовых и Любу заметили. Сразу же нашелся бородатый остряк:

— Поди на лотерейный билет выиграл?

— Должно быть, в очко!

— У него лучше спросите. Он вам ответит! Так ответит, что ты, Ионыч, забудешь, как твою Марусю звать!

— Свою Марусю я вовек не забуду. Она мне каждый секунд напоминает о себе: «А что ты купил для своей Маруси?.. А почему ты нынче не ласков к своей Мане?.. А как сейчас выглядит твоя Машенька?.. А не изменяешь ли ты Марусе?..»

Грохнул хохот. Запунцовевшая жена Ионыча колотила кулаками по спине смеющегося, довольного мужа:

— Врет все, болтун! Как есть все врет, проклятый!

Среди толпящихся Люба увидела Ивана Бодрова. Он демонстративно повернулся к ней спиной. Паша, жена Ивана, ловила Любин взгляд, чтобы хоть как-то скрасить вызывающее поведение мужа. На днях подошла она к Любе, смущенно поделилась: «Ване-то моему лучше, Любовь Николаевна. Спасибо вам! Простоквашу ест и работу думает сменить. Жить-то, смекаю, не надоело, вот и... Только вы уж никому, Любовь Николаевна. Убьет, ежели узнает. Гордый он у меня. Пожалуйста, никому».

Чуть в сторонке стояли Таня и ее высокий тонкий ухажер Генка Раннев. Таня что-то шептала ему и, возбужденно помахивая рукой, стреляла взглядом в Любу. Парень кивнул наконец и направился к Любе, при каждом шаге проседая на длинных ногах. Она

насторожилась: от него, наверное, можно чего угодно ожидать.

— Люба... Любовь Николаевна, можно вас на минуточку? Простите за то... Неправ я был... Ну, и... сорвалось с языка... Узнавал я, да и Таня — конечно, не откачаешь, конечно, через полсотни минут... А жалко Лешку. Я и до сих пор по ночам плачу... Парень-то какой был! Вместе в моряки мечтали. А в луже утонул... Извините меня, в общем...

— Люба, идем! — крикнул Владислав. — Товарищи, заходите, будем начинать.

В клубе Нина сразу свернула в предпоследний ряд:

— Я и для вас место займу. Под конец привалят.

Вначале Люба не поняла ее предусмотрительности. Владислав объявил о начале атеистического вечера и дал Любе слово. Она развернула на трибуне тетрадь, разгладила листы и только после этого посмотрела в полутемный зал. И растерялась: перед кем же выступать?! Зал был почти пуст. Впереди сидело десять-двенадцать комсомольцев, сосредоточенно, выжидающе глядя на нее. В задних рядах редко-редко маячили лица пожилых колхозников. А ведь сколько людей у входа на улице толпилось! Почему они не здесь? Люба разочарованно и вопросительно взглянула на Владислава. Он сердито поднялся с места и вышел из клуба.

— Закругляйся, Люба! — приглушенно, из-за чужой спины произнес молодой голос. Ему ответили сдержанными улыбками.

Владислав вернулся, и вместе с ним вошло несколько мужчин и женщин. Владислав был темнее тучи. Мотнул рукой:

— Начинай! — И сел в первом ряду.

Вот теперь Люба поняла Нинину предусмотрительность. Лекция мало кого интересовала. Людей привлекло бесплатное кино после лекции. За тем и пришли.

— Начинай! — повторил Владислав, не поднимая на Любу глаз.

Готовя лекцию, Люба немало перелистала брошюр, книг, газет. Ее старания были никчемными. Встречные взгляды колхозников говорили: не тяни время, кончай скорее! Под этими взглядами Люба чувствовала себя так, словно за чужим столом оказалась лишним едоком.

И она, не отрываясь от текста, оттараторила, уложила в пятнадцать минут. Закрывает тетрадь и покосилась на Владислава. Он встал:

— Вопросы есть, товарищи?

— Есть!

— Пожалуйста.

— Какое название кинокартины?

— Неумные шутки. Лекция понравилась, товарищи?

— А как же! И кино бесплатное, и с кумой встретился, — язвил подвыпивший пышноусый станичник, сидевший недалеко от Нины. — Ты не гневись, Владислав Петрович, таких лекций мы за свой век вдосталь наслушались... Айда, крути картину!.. А

доктору — спасибо наше! — И он гулко захлопал в ладоши.

Его поддержали, поаплодировали недружно, но громко. Эти аплодисменты распахнули клубные двери — в зал хлынул народ, ожидавший конца лекции на улице. Через пять минут в клубе не осталось ни одного свободного места. Растопырив руки, Нина оберегала возле себя два стула — для Любы и Владислава. Огорченной Любе шептала:

— Не расстраивайся, здесь всегда так... Тяжелый народ. Слава хлебнул горя.

Владислав говорил, что лекция получилась боевая, зрелая, сам видел, как некоторые старики носами вертели, затылки чесали, значит, проняла, до живого места достала. Жаль только, что местных фактов маловато, но для начала — совсем не худо.

Напрасно Владислав успокаивал Любу, она видела, что он фальшивит, и от этого ей было еще неприятнее. Она хотела уйти, но Владислав удержал: люди сочтут это за вызов им или, того хуже, за позорное бегство... И Люба осталась.

Кино долго не начиналось. Из окошечек аппаратной доносились звяканье оброненных жестяных кассет, жужжание перематываемых лент, перебранка механиков. Становилось душно. В духоте смешались запахи одеколона, нафталина и жареных подсолнечных семечек. Улавливался запах табачного дыма — кто-то потихоньку потягивал в заднем ряду.

Люба сидела между Владиславом и тем самым пышноусым стариком, которому лекция «понравилась». Нина вначале обмахивалась платочком, а потом

решительно сняла жакет. Люба тоже расстегнула пуговицы кофты.

Пышноусый сосед охально покосился на ее прозрачную нейлоновую блузку, хихикнув, толкнул локтем такого же седоволосого приятеля:

— Вишь, кум, какие кофты ноне пошли?!

— За модой следишь, дедуся?

Люба застегнула кофту и оглянулась на знакомый голос. Сзади сидел Григорий. Она протянула ему через плечо руку:

— Здравствуй, Гриша.

Не поворачивая головы, Владислав сухо спросил:

— Почему на лекции не был?

— Только что из рейса, Слава... Говорят, интересную лекцию вы прочли, Любовь Николаевна.

— Очень! — отрезала Люба, отвернувшись. Она не верила искренности Григория, как не верила в эту минуту всем сидящим в зале. Владислав знал здешнюю публику, почему же выставил ее, Любу, на осмеяние? Зачем? Натянута усмехнулась: — Настолько интересная лекция, что люди ноги друг другу отдавливали в дверях... А Владислав Петрович... большую «галочку» в отчете поставит.

Владислав быстро взглянул на Любу, промолчал. Но Любе показалось, что взгляд его был недобрый. Рассердился! Не нужно было затевать этот атеистический вечер с бесплатным кино!

— Сапожники! — проворчал Григорий, задирая голову к окошечкам аппаратной.

— Не забудь на воскресник явиться, Карнаухов, — раздраженно напомнил Владислав.

— А за то... прощаешь?

— Нет!

— Тогда не приду. Лучше посплю. Больше спишь — меньше нарушений.

Фильм оказался неинтересным, и Люба, еще не успокоившаяся после неудачи с лекцией, невнимательно следила за экраном. Григорий, положив локти на спинку ее стула, шептал почти в самое ухо:

— Характер Острецов показывает. А уж неделя прошла... Приехал я в первую бригаду, а у них там стол, а на столе бутылка. Братва кличет: причастись, Гриня! С удовольствием! Ну и опрокинул полстаканка. А тут бац — Владислав подгребает на велосипеде. Сразу ко мне: «И ты, передовой комсомолец, пьянствуешь в рабочее время!» Братва ему: «Мы первыми закончили зябь пахать, нам по этому случаю завхоз и автолавку прислал, у нас законно!» А он: «Честные труженики другим бригадам пришли бы на помощь, а не пили водку в солнечный ясный день». Потом снова за меня взялся. И за завхоза. Они с завхозом — во, на ножах! Тот его как-то Наполеончиком при всех назвал. И вообще Азовсков не дает ему спуска, хотя и биография у самого такая... Я бы на его месте перед Владиславом через две улицы шапку снимал... Если б у нас побольше таких было, как Слава, давно бы коммунизм возвели и построили! — Григорий тихонько вздохнул: — Теперь

вытащит он меня на комсомольский комитет! Замолвите словечко, Любовь Николаевна, перед ним, а?

Люба улыбнулась, чуть заметно кивнула.

Он еще ближе придвинулся к ее уху.

— А проводить вас можно после кино?

Люба вспомнила его насмешливый взгляд, когда он встретился ей и Леснову.

— Нет, Гриша, спасибо, сама дойду.

— Брезгуете, Любовь Николаевна? Ясно и понятно!

— Гриша, я считала тебя умнее.

Григорий отпрянул назад. До конца сеанса не промолвил ни слова.

Было около десяти вечера, когда вышли из клуба. Низом натягивало холодок. В вышине, как по хребтине матерого волка, выбилась проседь Млечного Пути. Размашисто чиркнула по небу звезда, высекла на мгновение искорки в глазах Владислава. Он засмеялся:

— Фейерверк в вашу честь, девчата!.. А у Андрея Андреевича свет во всех окнах. Может, зайдем, Нинок? Люба, зайдем, а? Рады будут, честное слово!

Люба подумала о председательской семье так, как знала от Григория Карнаухова: с первой разошелся — детей не было, и с этой не нажил. Конечно же, в таких семьях должны быть рады гостям. Но почему, по какой причине они должны зайти к Степняковым? Нина успокоила:

— А мы всегда заходим к ним на чай, когда идем из кино или с собрания. Андрей Андреевич ведь дядя мне родной, брат мамин...

В председательском доме на столе отдувался паром электрический самоварчик. За столом сидел колхозный завхоз Фокей Нилыч. Его бритая голова отражала свет лампочки. Наверно, завхоз зашел, чтобы поговорить о завтрашних делах. С ним Люба встречалась по делам чаще, чем с председателем, поэтому и знала о нем больше. Фокей Нилыч очень любил лошадей, всюду ездил или верхом, или в легком рессорном тарантасе. Серый горячий конь ходил под высокой желто-синей дугой, как под радугой. Нос у Фокея Нилыча горбатый, тяжелый, как у старого беркута. И взгляд из-под бровей неторопливый, зоркий, тоже беркутиный...

Хозяева обрадовались гостям. Жена председателя Галина вынула из буфета чашки, подсыпала в вазу дорогих конфет в разноцветных обертках. Пододвигая к себе чашки, открыла кран самовара. Зажурчал кипяток. Андрей Андреевич подставил стулья, усадил всех троих.

— Может, по стопке? Нет? Ну, тогда будем чай гонять... А мы вот с Фокеем Нилычем насчет новых решений правительства. В другое время, да хотя бы год назад, у нас бы все выкачали. Весь фураж бы выкачали... Ради чьего-то престижа!.. Теперь настоящее доверие к себе почувствовали мы. Правду говорю! — Его худощавое, с маленьким носом лицо выражало удовлетворение. Отхлебывая чай, он то и дело поправлял челку, съезжавшую на правую бровь. — Теперь-то мы развернемся. Главное, чтоб навсегда, чтоб вера не рушилась. Верно ведь?

Владислав, помешивая в чашке ложечкой, кивнул:

— Это так... По-настоящему заживем. Все еще не хватает на селе сильных руководителей. Правда, Фокей Нилыч?

Тот не проронил до этого ни слова, лишь внимательный прищур беркутиных глаз останавливал на каждом поочередно. Люба замечала, что особенно пристально всматривался он в красивое лицо Владислава. Разжал длинную складку тяжелых губ:

— У нас в Лебяжьем есть одна сильная личность.

По мгновенной тени, скользнувшей по лицу Владислава, Люба поняла, что между Острцовым и Азовсковым продолжается какая-то давняя тяжба. Владислав быстро нашелся, моргнув в сторону Любы:

— Вы нового доктора имеете в виду, Фокей Нилыч? Это вы правильно сказали, личность она у нас приметная. Только вот в лекции о вреде знахарства местные факты обошла. Бережет авторитет хозяйки. — С улыбкой повернулся к Любе. — Верно, Любовь? Мирное сосуществование — лозунг времени, и ты его придержишься. Верно?

— Ты не думаешь, Слава, что своими остротами можешь обидеть человека? — недовольно заметила Нина.

— Прости, Нинок... у Ниночки — сердце. Тут уж я пас! Больных нужно щадить. Так, Люба?

— Зря вы в педагогический пошли, из вас вышел бы проницательный психиатр или хирург.

— Он у нас и так главный хирург и психиатр, — сказал Фокей Нилыч, поднимаясь. — Спасибо за угощение...

С хозяином они отошли к порогу, заговорили о том, сколько выделить завтра тракторов на подвозку сена к зимовкам, сколько людей «бросить» на копку картофеля.

Владислав наклонился к жене и Любе, зашептал:

— Представьте себе вот этого бритоголового в седле, с шашкой наголо... Ух, яростен, если разойдется! Рот, видите, здоровый, подбородок тяжелый, властный. Я представляю отца его, белоказачьего сотника Нила Азовского, проживающего ныне где-то в Австралии. Трудненько против таких...

Азовсков ушел, и Андрей Андреевич вернулся к столу.

— О чем вы тут шепчетесь, племя молодое? Владислав Петрович, поди, критику на кого-нибудь наводит? Критик он острый — и затачивать не надо.

— Критика оздоравливает. Даже таких, как Фокей Нилыч.

— Недолюбливает он тебя, Владислав Петрович!

Люба заметила, что Андрей Андреевич ни разу не назвал молодого родственника Славой — только по имени и отчеству. И еще заметила, что председатель, и правда, очень душевный, мягкий человек. Такой, наверно, никогда не повысит тона, не нагрубит и будет долго переживать, если обидит невзначай человека. Но больно уж невзрачен на вид: маленький, худой. А голова большая. Лицо живое, умное, привлекательное. Зато Галина была прямой противоположностью мужу: высокая, крупнотелая, пышная, с черными дугами бровей. Типичная украинка. Говорят, в Москве на выставке познакомились да и поженились вскоре... Заметила вдруг Люба и короткие взгляды, которые

останавливал председатель на талии жены. И поняла их значение: Галина готовилась стать матерью. До того дня еще ой как много, а уж она ходила важегато, сторожко...

Люба улыбнулась Галине. Уловила нить разговора. Хмурясь, отвечал Владислав:

— Не вижу веских причин, за которые Азовсков меня не любит.

— И вправду! — певуче отозвалась Галина, ополаскивая чашку Азовскова и протирая ее вафельным полотенцем. — И вправду. Славик, чего б ему?! Ото ж тогда, осенью, колы у тэбэ окна повыбывалы, вин казав...

— Не надо, Галя! — остерегающе поднял руку Андрей Андреевич. — Зачем об этом?

Всем стало неловко. Наступила тишина, в которой слышно было, как потрескивает в самоваре остывающая спираль. Опустив голову, Владислав хмуро передвигал ложечкой косточки от вишневого варенья, словно пересчитывал их в блюде. Люба поняла, что все здесь знают что-то больше о разбитых окнах, чем известно ей. Поймала на себе взгляд Нины, он словно бы говорил: видишь, как несправедливы и злы бывают люди! В чем заключалась эта несправедливость, это зло? Любе подумалось, что, наверно, и Владислав не столь уж безупречен и чист, как кажется. Но все равно, даже если это так, ему в Лебяжьем нелегко приходится, и держится он достойно, надо отдать должное его мужеству. И она, Люба, обязана поддерживать именно Острцова, молодежного вожака, потому что будущее — за такими, как он, а не за вялым тугодумом

Азовским, обожающим коней под расписной дугой-радугой.

— Не наш он все-таки человек, — произнес наконец Владислав, кладя ложечку в блюдо и отодвигая его. — Вы можете сказать, Андрей Андреевич, что он коммунист и прочее, но... Нет, не наш!

— А вин тож на тебэ, Славик, каже: не наш! — с веселым удивлением воскликнула Галина. Была она плохим дипломатом. — Одинаково друг про дружку думаетэ...

— Славик, пора и честь знать! — Нина, ни на кого не глядя, засобиравлась домой. Она сожалела, что возник весь этот разговор, что вообще они зашли к Степняковым.

По дороге домой Владислав пытался шутить, смеяться, но чувствовалось, что мысли его были о другом. Прощаясь, он взял Любину руку.

— Жизнь — борьба, а в борьбе не должно быть равнодушных наблюдателей. Согласна, Любовь? Они тут думают, что я сломаюсь, перестану обращать внимание на недостатки. Ничего у них не выйдет. Я — учитель, я должен учить детей на примерах достойных, чистых, они должны видеть вокруг себя честность, принципиальность, правду... За все это мы и должны бороться, Люба. Нас всегда поддержат. Я, например, постоянно чувствую эту поддержку со стороны райкома партии и комсомола, со стороны печати и передовых колхозников...

Люба слушала и пыталась высвободить руку, но Владислав, точно не замечая этого, сжимал ее еще

крепче и говорил, говорил. Нина не вступала в разговор. Ждала и слушала.

Владислав говорил о том, что Люба должна немедленно включиться в идеологическую борьбу, что она не должна стоять в стороне, когда всякие знахарки, проповедники старой и новой веры ведут на нас наступление, когда пережитки прошлого все еще владеют разумом отсталых людей. И на первый раз он просит ее, даже настаивает, как секретарь комсомольского комитета, чтобы она не падала духом из-за неудачи с лекцией, пусть и впредь будет Люба воинствующим атеистом!

Наконец Владислав встряхнул ее руку, и Острецовы ушли домой. Люба осталась возле калитки одна. Ей не хотелось входить в избу. Она думала о завхозе Азовскове, об Иване Бодрове, о длинном Генке и о цокотухе Тане. Думала о Владиславе и его Нине, об их дяде — председателе Степнякове, у которого глаза сияют, когда он смотрит на полнеющую талию жены. И думала о себе. Думала, что жизнь оказалась значительно сложнее, чем представлялась ей в институте, что во всей ее сложности она обязана правильно разобраться, а это так трудно.

Над избой показался месяц и, будто оранжевый удад, уселся на коньке крыши. Посидел-посидел и плавно поплыл к звездам. Сесть бы в эту ладью и уплыть в сказочные страны и моря-океаны, в страну теплого детства! Но детство кончилось, давно кончилось. Они, трое молодых, сильных, грамотных, должны думать о детстве других, чтобы оно было ясным и прозрачным, как это небо над их головами, куда уплыла бригантина

из гриновской сказки. Здесь, на планете, им предстояло сделать много-много дел.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На воскресник поднялся весь поселок — от школьников до стариков и старух. К правлению, где назначен был сбор, шли целыми семьями, шли с лопатами и ведрами, со снедью в кошелках и авоськах. Сходилась народ шумно и весело, как на праздник. Да это и был праздник, давний, традиционный. Каждую осень в одно из воскресений собирались лебяжинцы вот так и шли за старицу копать картофель, морковь, рубить капусту. За старицей была их знаменитая на весь район овощная плантация. После уборки к лебяжинцам ехали со всех концов области за картофелем и капустой, знали: отменный продукт у здешних колхозников, отменные семена. А заработанное в этот день колхозниками, как правило, шло на приобретение чего-нибудь памятного. Однажды было куплено оборудование для радиоузла, в другой раз купили двигатель для электростанции, в прошлом году решили на эти деньги обучить двух лебяжинских студентов — свои, кровные специалисты вернутся в поселок... Нынче правленцы планировали купить для клуба духовой оркестр.

Если по сухопутью, в объезд, то до плантации было пять километров, если на лодке — то рядом, на той стороне старицы, за деревьями. Желающие прокатиться могли рассаживаться в четырех грузовиках, стоявших тут же, возле правления, а те, кому места в кузовах не хватит, поплывут в двух больших лодках-бударах. Но пока что и грузовики и будары были пусты. По традиции, в кузов первым должен влезть председатель и

что-то сказать хорошее людям, а уж потом за дело, за работу.

И Андрей Андреевич вскарабкался в машину, помолчал, оглядывая пестрый разноцвет женских платков и мужских кепок. Колыхнулась и замерла в тишине толпа, ожидая председателевых слов. Только грачи на ветлах орали, собираясь в дальний перелет. Андрей Андреевич отвел с брови непослушную челку, кашлянул.

— Ну, что ж, вот и снова мы встретились тут, на площади. И очень даже приятно нам тут встретиться, потому что поработали мы хорошо, хорошо хозяйственный год заканчиваем, не осрамились... С чем, конечно, и поздравляю вас, лебяжинцы!

— Спасибо, Андреич!

— Покорно благодарим!

— Уж это точно — поработали!

Удивили Любу эти возгласы. Вместо привычных аплодисментов — вот эти будничные, деловитые реплики, будто так и должно быть, другого будто они и не ждали от своего председателя.

Но тут в кузов вскочил Владислав Острецов, стал рядом с Андреем Андреевичем — высокий, красивый, улыбчивый. И Андрей Андреевич словно бы сжался возле него, уменьшился в росте. Покашляв, сказал:

— Вот комсорг хочет несколько слов...

Владислав поправил на боку фотоаппарат, взмахнул рукой:

— Товарищи! Все вы знаете, что на вырученные от воскресника средства правление собирается купить инструменты для духового оркестра. Хорошая идея. Но инструмент от нас не уйдет. Я предлагаю эти средства внести в фонд народов стран Азии и Африки, борющихся за свое освобождение от оков колониализма!

И он что было мочи захлопал в ладоши. Кто-то еще захлопал, еще, чаще, гуще, но шквального грохота, какого, похоже, ожидал Владислав, не получилось. Некоторые колхозники хлопали вяло, без воодушевления, смотрели под ноги.

Когда стихли аплодисменты, все услышали голос завхоза Азовскова, стоявшего неподалеку от автомашины.

— Ты, комсорг, сдается мне, недоучел момента. Ноне наш традиционный воскресник. Стало быть, средства от него мы традиционно пускаем на общественный подарок всему поселку, чтоб память осталась наглядная — хоть рукой пощупай, хоть полюбуйся. Борющимся народам мы и из других средств можем отчислить, ежели решит собрание...

— Вы недооцениваете политического момента, Фокей Нильч!

— Может статья, недооцениваю, — глухо отозвался завхоз. — Как решит общество, так и будет. Праздничного настроения как не бывало. Общество никак не решило. Все молча стали рассаживаться по машинам, позвякивая лопатами и гремя пустыми ведрами. Разговоров почти не было. Переполненные грузовики укатили, а оставшийся народ направился по

проулку к берегу старицы, где стояли оприколенные лодки.

Владислав отыскал Любу, взял ее за локоть. Оглядел с головы до ног. В трикотажном тренировочном костюме она казалась школьницей из его класса.

— Все равно всем за один раз не уехать... Идем к мастерской, я тебе кое-что покажу. Ты что такая сегодня? Будто воды в рот набрала.

— Подожди. Не мешай мне. Я что-то себя не пойму...

Но Владислав понимал ее.

— Шкурные интересы у таких, как Фокей Нилыч, выше общественных. Пуповиной приросли к собственничеству...

— Нет-нет, ты не усложняй, Слава! — Люба несла в одной руке ведро, кончики пальцев другой руки прижала к вискам. — Я не пойму еще, подожди... У людей же праздник, у них традиция сложилась...

— Да разве я ее нарушаю! — весело воскликнул Владислав. — Я только одно другим предложил заменить. От перестановки слагаемых сумма, как известно, не меняется.

— Это в арифметике не меняется, Слава. А тут... Здесь не арифметика. Уметь угадать душевный настрой человека — это искусство. А в искусстве свои законы.

— Мудришь ты, Люба!

— Возможно.

Около ремонтной мастерской в ряд выстроились темно-красные самоходные комбайны, поблескивающие

стальными ножами. Там и сям валялись кабины от списанных тракторов и автомашин, ржавели остовы прицепных комбайнов, отживших свой век. В мастерской тишина. Даже дымок над кузнечной трубой не курился. Выходной. Но люди не дома, все — на воскреснике.

Владислав подвел Любу к новенькой незнакомой машине, отдаленно напоминающей кукурузоуборочный комбайн. Значительно кивнул:

— Видишь? Два года стоит без движения. А денежки заплачены за нее, и не малые. И называется она картофелекопалкой. Представляешь, идет она за трактором, выкапывает из земли клубни, перетряхивает их, сортирует и ссыпает в бункер... И стоять выполненная ею работа будет дешевле пареной репы. Но машина стоит.

— Но почему?!

— Наверно, чтобы заведенной традиции не нарушить. А для оправдания перед начальством — тысяча объективных причин. Вот так-то, Любовь! А ты говоришь о душевном настрое...

К старице шли они молча.

Обе лодки возвращались от того берега пустыми, их ждало человек двадцать.

С деревьев летела желтая, оранжевая листва. Она шуршала под ногами, устилала прохладную утреннюю гладь старицы, и вода становилась вроде бы шерстистой. Когда набегал вдруг ветерок, то вода вздрагивала, слева по мелководью бродили серые кулички на тонких, как тростник, ножках. В небе

курлыкали журавли. На юг, к теплу, к обилию пищи уходили они из родимых мест.

Лодки причалили, шаркнув днищами под донному галечнику. Владислав острил, а Люба никак не могла собрать мысли воедино, они рассыпались, раскатывались, как оброненные бусинки.

Нина попробовала запеть, но ее не поддержали, и она сконфуженно умолкла.

Когда лодка достигла почти середины старицы, Таня закричала, показывая назад:

— Смотрите! Смотрите!

Утиный клин, проходивший над Лебяжьим, быстро настигал ястреб. Узкий, длинный, он почти не махал крыльями, а рассекал воздух, будто мощной пращей выпущенный. Утки заметили преследователя, клин сломался, в молчаливом ужасе ринулся вниз, к спасительным камышам. Но смерть, выпустив когти, настигала. Почти у самых камышей ястреб ударил отставшую крякву, провалился с ней до коричневых метелок тростника и тут же тяжело взмыл, держа в когтях жертву. В лодках кричали, свистели, махали лопатами, стучали ведрами, кто-то запустил в разбойника консервной банкой, кто-то швырнул деревянный лоток, которым вычерпывали из лодки воду. Будара раскачалась, дважды зачерпнула бортом, наделав еще большей суматохи.

Но слишком горд и самонадеян был пернатый пират, чтобы обращать внимание на шумящих внизу людей. Он даже курса не изменил, пересекая старицу, уходя к лесу на той стороне. И никто не придавал значения негромкому выстрелу за кустами. Будто хлопнул пастуший кнут.

Ястреб вдруг выронил убитую утку, вильнул в сторону. В то же мгновение снова хлопнул за тальниками выстрел, и хищник, кувыркаясь, ломая крылья, глухо упал на песчаную кромку берега. Разгребая перед собой заиндевелые, чуть отсыревшие кусты тальника, на прогалину вышел Григорий, в резиновых бахилах, в ватнике. За плечом его висела двустволка. Он поднял мертвого разбойника, осуждающе покачал головой. Из причаливших лодок повыскакивали люди, окружили парня.

— Сотни уток пожирает за лето, — сказал Григорий. — Кончился его разбой.

Владислав сунул под мышку рулон ватманской бумаги, взял у Григория серого красавца, задумчиво посмотрел, держа за крыло.

— Недооценка чужих сил всегда влечет тяжелую расплату. Погордился, не внял людскому разуму — и вот...

— Недостаток воспитания! — иронически заметил Григорий.

— А стреляешь метко. За одно это простить многое можно. Посмотрите, каков, а?! Клюв! Разрез глаз, прищур! Напоминает он мне одного человека... Уступишь, Гриша, трофей? Сделаю чучело и поставлю на книжный шкаф, как память о ловкости и коварстве более сильных.

Владислав вынул из рулона один лист бумаги и тщательно завернул в него ястреба. Сверток сунул в Нинину сумку.

— Кто со мной? — поднял Григорий руку. — Кто для моего «газона» будет копать?

— Все, — сказал Владислав. — Даже Любовь Николаевна, хотя ты на нее и гневаешься почему-то.

— Обмелело мое счастье, Владислав, вот и сердит я кое на кого.

Гурьбой вслед за Григорием пробрались через обтаивающий, мокрый лозняк, миновали тополиную рощицу и вышли на широкую поляну, изрезанную валами водотеков. На краю ее стояли порожние автомашины, а народ рассыпался по пахоте, кое-где уже сверкали лопаты, вскапывающие землю, слышались удары картофелин о донца пустых ведер.

— Моей команде и моей машине, — значительно сказал Григорий, — отвели вот этот участок, от вала до вала. Любовь Николаевна, какая, по-вашему, его ширина?

— Двадцать шагов...

Григорий пошагал поперек участка, путаясь бахилами в картофельной ботве.

— Вы молодец, Любовь Николаевна, считать умеете: точно двадцать. Итак, на каждую пару прогон шириной два метра. Соревнование считаю начавшимся. Любовь Николаевна, кого берете в напарники? Владислава?

— Уволь! Я единица временная. — Владислав похлопал по рулону: — Наглядная агитация, контроль и прочее. Я еще должен своих школьников собрать, летучий отряд контролеров...

— А-а, контролеров, — понимающе протянул Григорий. — Ну, тогда я с вами, Любовь Николаевна. Пока мою не загрузят. Ладно?

Размерили, отвели каждой паре участок. И лопата Григория вонзилась в жесткую слежавшуюся после поливов землю, вывернула комья и бело-розовые крупные клубни. Нагнувшись, Люба стала выбирать картофелины, ощутила острый запах подрезанных корней и ботвы, взрыхленной земли. Этот запах напомнил детство, родную Полтавщину, огород возле речки. Осенью всегда убирали огород...

За Григорием трудно было угнаться, он шумно дышал, но лопатой орудовал так, словно она была игрушечная. Видя, что Люба отстаёт, помогал ей, а потом подхватывал полное ведро и бегом нес его к краю загонки, высыпал в мешок. В это время Люба отдыхала, распрямив ноющую с непривычки спину. Рядом не отставали Гена с Таней, дальше выбирала клубни Нина Острцова. Копал учитель рисования. С другой стороны, за валом, сноровисто работал лопатой Фокей Нилыч Азовсков. Ему помогала девчушка лет тринадцати, наверно, дочка. Фокей Нилыч раньше всех наполнил мешок, легко взбросил его на плечо и понес к машине, которая не могла пройти сюда — мешали водотеки. Изрытый морщинами лоб завхоза покрыла испарина, он сбросил кепку, и бритая голова его ярко заблестела на нежарком осеннем солнце.

Недалеко от него работал Бодров с женой. Иван часто садился на неполный мешок, сосредоточенно курил, уставившись в одну точку, словно на поплавок смотрел. И только когда замечал, что Паша, рассердясь на него,

принималась копать, вставал, затапывал окурок и забирал у Паши лопату.

В воздухе летела паутина, кружились желтые листья. Была прощальная пора бабьего лета.

Подбежал Григорий с пустым ведром, шумно выдохнул:

— Поехали дальше! Фокей Нилыч обогнал нас. — И тут же без всякой связи с предыдущим: — Позавчера был я в райцентре. Видал Динку. Засела она у меня в сердце, как заноза, ни одна другая искорка не пролетит, не подожжет. И почему такое несоответствие, просто удивительно! Посмотрите, Люба, что Острцов придумал!

Люба подняла голову.

Два школьника несли фанерный щит, к которому был приколот лист ватмана. На листе была нарисована злая карикатура на мужчину и женщину. И синяя стрела. Рядом текст большими печатными буквами:

«Летучий пионерский контроль сообщает: после Исаева и Исаевой на делянке набрано ведро клубней. Позор бракоделам!»

— Вот дает! — хмыкнул Григорий.

Фокей Нилыч прочитал, сплюнул и шепотом выругался. Но когда подошел Владислав и, открыв чехол фотоаппарата, хотел сфотографировать Фокея Нилыча как передовика, тот сорвался:

— Катись ты отсюда! Путаешься под ногами...

Владислав, глядя на Любу с Григорием, демонстративно развел руками: дескать, судите сами, кто прав, кто виноват. И заспешил дальше. Он был

вездесущ, появлялся то на одной делянке, то на другой, вскидывал к глазу фотоаппарат, черкал что-то в блокноте. Брал у кого-нибудь лопату, раза три-четыре всаживал ее в неподатливую землю, поощрительно похлопывал по плечу хозяина лопаты: «Давай, давай! Молодец!» — и бежал к другой группе.

Сели передохнуть. Люба спросила:

— Гриша, а почему сюда картофелекопалку не пускают? Ржавеет возле мастерской.

Григорий пнул сапогом большой спрессованный комок земли:

— Видите, какая почва? Илистая. После полива она высыхает на солнце и становится словно бетон. Картофелекопалка не выдерживает. Да и здорово бьет она картошку, такая картошка с середины зимы начинает гнить... Машина эта, слов нет, хорошая, но не для нашей земли. Она любит мягкие черноземы и супеси.

Люба задумалась. Наверно, что-то не так в поведении Острецова, наверно, не случайны его стычки с Азовсковым. Или только ей так кажется? Вон Григорий боготворит его! И словно в подтверждение ее мыслей о нем, Григорий окликнул двух школьников из «летучего контроля». Они хрустели, как кролики, морковкой и швырялись картошкой.

— Эй вы, двоечники! А ну шагайте сюда!

— Мы не двоечники! — обиделись ребята, нехотя приближаясь к Григорию.

— Не двоечники, так зачем же картофель бросаете? Его из Америки на парусниках завозили, Петр Первый

вводил его в севооборот, чтоб люди не голодали, а вы. Кто такой Петр Первый?

— Царь.

— Ца-арь! — передразнил Григорий. — Царей было много, а Петр Первый — один. Запомните, троечники, Иисус Христос кем был для христиан? Святым. А Петр Первый для русских? Великим.

Люба, рассматривая свои почерневшие от картофельной кожуры пальцы, улыбалась:

— Ваша политинформация достойна самого Острецова. Видать, с кем поведешься, от того и наберешься?

— Совершенно верно. — Григорий ничуть не обиделся. Взвалив мешок на спину, он понес его к машине. Вернувшись, сказал: — Решено двумя «газонами» возить. Мой в резерве. Так что до вечера я ваш непокорный слуга. Устали? Давайте отдыхать. Вон ваша Анфиса Лукинична показалась... Обед, наверно, несет. Заботливая тетка.

Из рощицы вышла Анфиса Лукинична, держа в руке корзину из тальниковой лозы. Остановилась, сделав ладонь козырьком, посмотрела из-под нее. Люба крикнула ей, помахала рукой, и Анфиса Лукинична, осторожно ступая через ямки и спутанную ботву, посеменила к девушке. Анфиса Лукинична не пошла на воскресник, у нее на ферме, возле телят, выходных не было.

Григорий, ласково поглядывая на корзину, расстелил на земле пустые мешки, Любе и Анфисе Лукиничне поставил вместо сидений опрокинутые вверх дном

ведра и побежал к Фокею Нилычу, который тоже накрывал стол, позвав к себе Генку с Таней. Здесь весело потрескивал костерок, вокруг стелился дым с запахом печеной картошки. Из-под углей Григорий навывкатывал с десятков аппетитных, подрумяненных картофелин и принес, обжигаясь, к своему стану. На чистом полотенце уже красовалась снедь: вареные яйца и помидоры, термос с чаем, кастрюлька с чем-то горячим...

Ели дружно — наработались! Когда расправились со всем, что принесла Анфиса Лукинична, охмелевший от еды Григорий удивленно заглянул в корзину:

— Ну и поднажали! Пусто. Как после саранчи.

— Лишь бы на здоровье, — добродушно сказала Анфиса Лукинична, разбирая на коленях ярко-красные ягоды шиповника и коричневатые — боярышника.

— Где вы их набрали, тетя Фиса? Я шла и что-то не заметила.

— А ты, наверно, плохо смотрела, дочка. Там и грибов — страсть как много. Выберу время — насобираю, будет нам с тобой на зиму закуска.

Люба вскочила.

— Григорий, поищем грибы?! В детстве я так любила грибы собирать, только у нас их мало. Бежим?!

— А Владислав?

— Да мы же на десять-пятнадцать минут. Я хочу посмотреть, какие здесь грибы растут.

И они побежали к роще, из которой вышла Анфиса Лукинична.

Под тополями и вербами пахло сыростью, лесом. Ветви обнажались, и было светло и прозрачно. Лишь кое-где в вышине чернели покинутые грачиные гнезда — память о лете, о жизни, о кочующих к югу птицах.

Любе стало грустно от этой обнаженности леса, от прозрачности и тишины под его кронами. Григорий остановился под старой дуплистой вербой.

— Грибы! — таинственно шепнул он и ковырнул палкой.

Из-под листвы вылупились игрушечные матрешки, одна другой меньше и красивей. Толстенные, с красной маленькой шляпкой грибы очень напоминали куколок. Люба упала перед ними на колени, бережно провела ладонями по их шелковистым шапочкам:

— Какие миленькие... Да как много!.. Как они называются?

— Валуи. — Григорий тоже опустился рядом с ней на колени. Случайно коснулся ее руки и покраснел. Виноватым голосом торопливо стал объяснять: — Их не варят и не жарят. Их сначала несколько дней вымачивают в воде, потом опускают в кипяток, потом уж маринуют.

Вместе поднялись, встретились взглядами, и Григорий опустил глаза. Нерешительно взял Любину тонкую руку. Чувствуя, что во рту сохнет, проговорил:

— Пальцы у тебя... у вас... испачкались...

Медленно высвобождая их, она засмеялась:

— Помню, какими глазами смотрели вы на них, сначала главврач, а потом и ты. В день моего приезда.

— Какими? Не припоминаю. — Григорий свел к переносице белые брови, будто и впрямь усиленно вспоминал.

— О! Леснов — категорическими, запрещающими: врач не имеет права на такие длинные покрашенные ногти! Ну, а ты — просто с иронией. Мол, с такими розовыми коготками — и в наш медвежий угол, мол, посмотрим, посмотрим! Коготочки-то я срезала, да не вижу угла медвежьего, староверческого.

— Увидишь еще, — нахмурился Григорий. — Это ведь какими глазами смотреть. Вон хотя бы Исаевы, каких Владислав протянул. У-у! Ни за что не дадут из своей посуды есть-пить. Есть и еще. И всякого в них до полна. И дерьма, и хорошего.

— Как в каждом человеке! Это же прописная истина, Гриша. Представь, как разочаровался в солнце тот, кто первым увидел на нем пятна. На светиле — и вдруг пятна! А? Ты сам-то бывал у Исаевых? Беседовал с ними по душам?

— Я рядовой атеист, не воинствующий, как вы с Владиславом. А Владислав бывал, беседовал. Три дня бледный ходил!

— О!

— Да! Говорит, дедок положил перед собой толстенное писание да как начал по нему чесать, что пистолет-пулемет Шапошникова, если не чаще. Нина его потом проговорила: Владислав написал куда-то жалобу на то,

что атеизму учат в институтах так, шалей-валяй... Он и на твою хозяйку неровно дышит.

— Да уж знаю! Только она после него посуды не выбрасывает.

— Экономная! — хохотнул Григорий, но тут же посерьезнел: — Нет, тетя Анфиса вообще-то славная тетка. Хотя, конечно, с уклоном. Пошли? А то Слава и нас с тобой... Принципиальный, за это уважаю...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Больного из операционной увезли в палату. Леснов снял перчатки, халат и прошел к раковине. Долго мыл руки.

Заглянула жена Клава:

— Обедать пойдешь, Леня?

Он кивнул:

— Сейчас пойдем.

На улице было пасмурно. Порывистый ветер гнал пыль и мусор. Леснов поднял воротник пальто, поглубже надвинул меховую шапку. Давно пора бы лечь снегу, но только сегодня, кажется, начинается первый буран, если ветер не разгонит низкие снеговые тучи.

Шли молча. Они всегда молчали, когда шли на работу или с работы. Возле райкома комсомола прямо перед ними лихо затормозил восьмиместный «газик-вездеход». Правая дверца с треском откинулась, и на землю выпрыгнула смеющаяся Люба. Заглядывая в глубь машины, крикнула:

— Живо, комсомолия, а то столовую закроют!

Обернувшись, она увидела Леснова с Клавой. Протянула руку в шерстяной цветастой варежке.

— На конференцию приехали.

— Клава тоже делегат конференции, — сказал Леснов. — Она приглашает вас, Любовь Николаевна, к нам на обед.

Клава удивленно взглянула на мужа, но быстро закивала:

— Да-да, Люба, идемте к нам.

Из машины вылезли Острцов, Григорий, Генка, молоденькая доярка Поля. Люба нерешительно посмотрела на них и — согласилась.

Леснов интересовался прививками в лебяжинской школе и занятиями санитарного кружка, который организовала Люба.

Жили Лесновы в стандартном финском домике. Двор был обнесен невысоким штакетником. В цветочных клумбах шуршали на ветру стебли мерзлых, поникших георгинов. «Точно, как возле больницы, — подумала Люба. — Кто из них больше любит цветы? Наверно, Клава.

Он — сухарь. Никогда не найдет живой темы для разговора...» Владислав — прямая противоположность Леснову. Пока ехали в райцентр, Владислав ни на минуту не умолкал: шутил, рассказывал забавные истории. Однажды друзья по комнате в общежитии перевели будильник на два часа вперед, и Владислав пришел в институт, когда еще и вахтер спал. В другой раз... Нет, с Владиславом не было скучно... Григорий молчал, отводил глаза от Любы. Почему? Неужели из-за

того, что тогда в лесу... И все же на Григория она могла больше положиться, чем на Владислава. И Леснов был вернее, надежнее, чем Владислав. Почему? Да кто его знает! Сама еще не разберется.

Пока Клава накрывала на стол, хозяин провел Любу в смежную комнату. Это был кабинет. Кроме трех шкафов с книгами и стола, здесь ничего не было.

— Есть кое-что антикварное, — сказал Леснов, показывая на книги. — Еще в войну начал собирать, пацаном...

Люба кивнула и подошла к одному шкафу, молча стала рассматривать книги.

— Трудно вам? — спросил вдруг Леснов. — В Лебяжьем трудно? Боюсь, на диссертацию не остается времени. Правда?

— Я, наверно, не умею распределять время.

— Может быть, вас перевести в районную больницу?

Люба насторожилась. Пыталась в маленьких глазках Леснова, спрятанных под нависшими бровями, прочесть истину.

— Мне и в Лебяжьем неплохо, Леонид Евстифиевич.

Он улыбнулся, потер раздвоенный подбородок.

— Ладно, согласен! А это, — Леснов показал на книжные шкафы, — это я к тому вам — пользуйтесь в любое время. Не во всякой библиотеке найдется такая специальная литература... Для вас особенно пригодится. Для вашей диссертации.

Клава позвала их к столу и со смехом сказала:

— Наверно, он в вас, Люба, влюбился! Не иначе. Сроду никого не водит в дом, сроду над книгами сидит да немецкий зубрит, а тут... Непременно влюбился!

— Ты наговоришь, Клавдюша! — смутился Леснов. — Просто хочу помочь молодому специалисту... Локоть товарища чтобы чувствовать. Ты не знаешь разве, какой народ в Лебяжьем, как там новичкам туго приходится...

Леснов так длинно и старательно объяснял жене, почему он столь благосклонен к Устименко, что поневоле можно было поверить в Клавино шутовое предположение.

Обед прошел оживленно. Клава подтрунивала над мужем, он неумело отбивался, а Люба смеялась, не вступая в их пикировку. Знакомые Любе медики говорили, что женился Леснов с практическим расчетом. Будто бы он долго присматривался к молоденькой медсестре, недавно похоронившей мужа, разбившегося на мотоцикле. Она была самой исполнительной, самой аккуратной и уравновешенной среди персонала больницы. Себя же, говорили, он считал флегматиком, для которого существует лишь холодная рассудочность разума. Всего этого, по его мнению, было достаточно для семейного благополучия. Так и поженились. Было у них двое сыновей и не было ссор. И еще были у них книги. А была ли любовь — неизвестно. Может, было большее, чем просто любовь?

Любу это меньше всего интересовало. Она радовалась, что провела некоторое время с этими сердечными людьми. И все же болезненно восприняла совет Леснова уйти с квартиры Анфисы Лукиничны. Посоветовал он это, когда они пришли в больницу и

остались в его кабинете вдвоем. Он сказал, что ничего против Любиной хозяйки не имеет, но, мол, разговоры вокруг имени этой женщины идут нездоровые.

Люба вспылила, но удержалась, чтобы не наговорить дерзостей. Простилась с Лесновым довольно холодно. Он не понял ее упрямства: «Принципиально буду жить у Анфисы Лукиничны!..»

Люба взяла билет на шесть вечера и ушла в кино. А когда вышла после сеанса из кинотеатра, то ахнула: кругом белым-бело! Два часа назад улицы были черные, мрачные, а сейчас поселок посвежел и посветлел, стал просматриваться до самых околиц. Это было то время года, о котором Анфиса Лукинична говорила: «Покров — не лето, благовещение — не зима!» То ли фильм поднял Любино настроение, то ли первый дружный снегопад, но в гостиницу она прибежала освеженная, бодрая, пропахшая снегом.

— Наконец-то! — воскликнул Владислав, встретив ее в вестибюле. — А наши сбились с ног, разыскивая тебя... Беги скорее в райком комсомола к Васе Чебакову, все уже ушли туда.

— А ты?

— Меня не пригласили.

— А нас... зачем?

— Ума не приложу!

Говорил Владислав весело, с лукавинкой. Ясно было, что он хорошо знал, зачем вызывали лебяжинских делегатов к первому секретарю райкома комсомола. И этот вызов, похоже, был приятен Владиславу. Люба догадалась: в райкоме будет инструктаж, куда и как они

должны выдвинуть кандидатуру Острецова. У нее уже был кое-какой опыт в подобных делах.

— А тебе не попало за меня?

— В каком смысле? — Владислав перестал улыбаться.

— За то, что я делегат конференции.

Владислав медлил с ответом, раздумывая, говорить ли ей правду. Он не знал, многое ли ей известно и что она имела в виду. Ответ его был довольно обтекаемый:

— Откровенно говоря... м-м... откровенно говоря, когда Чебаков читал нам, членам райкома, свой завтрашний доклад на конференции, то мне жарковато было. Крепко он лебязинцев прочищает, с наждаком... Но Чебаков прав, Люба! К сожалению, прав. Мало мы работаем, плохо работаем... Да! — спохватился он. — Ты беги-ка, беги, Любовь, тебя там ждут, наверно!

В райком Люба пришла вовремя: Чебаков только что пригласил лебязинцев к себе в кабинет. Сам он прохаживался позади широкого стола, а второй секретарь Лиля Гуляева, согнувшись на стуле в углу, сосредоточенно читала что-то с карандашом в руках. И Василий и Лиля работали секретарями первый срок. Он — недавний выпускник сельхозинститута, а у нее — год учительской работы в школе. Поэтому на новом месте они до сих пор предпочитали советоваться с людьми даже по пустякам: как бы не наделать ошибок. Вот и сейчас они решили вызвать лебязинских делегатов в райком.

Чебаков смотрел под ноги и время от времени с ожесточением теребил волосы на голове, видно, решал

какую-то сложную задачу. Наконец быстро сел за стол и шумно выдернул средний ящик.

— Вот что, ребята. — Он вынул из ящика распечатанный конверт. — Из Лебяжьего на имя секретаря райкома партии пришло письмо... Его передали нам. На наше усмотрение. Ну, мы с Лилей пригласили вас. Посоветоваться. Письмо касается Владислава Острцова...

Говорил Чебаков короткими рублеными фразами.

— Сейчас я прочитаю письмо. А вы послушайте. — Чебаков окинул взглядом лебяжинцев, конверт положил в сторону, а два исписанных листка, вынутых из него, разгладил на настольном стекле. — Не письмо, а записка. Потом вместе решим как быть.

И он стал читать:

«... В ближайшие дни в Степном откроется районная конференция комсомольцев. Я, товарищ секретарь райкома партии, хотел бы обратить ваше внимание на ее работу. Сдается мне, что отклоняется наша славная молодежь от правильного курса. Сдается мне, что вместо боевого помощника партии становится она ревизором и критиком дел старших товарищей...»

Чебаков поверх листка посмотрел на лебяжинцев. Никто не пошевелился. Лица были замкнуты. И он снова уткнулся в письмо:

«Вполне даже возможно, что я, как старый пес, потерял чутье и потому начисто ошибаюсь, дорогой товарищ Черевичный. Я ведь сужу по делам только наших, лебяжинских, комсомольцев. И даже, скажу откровенно, не всех комсомольцев, а по делам их секретаря Владислава Острцова. Он и правление колхоза критикует и всю осуждает, и партбюро тоже,

и всех колхозников. Пало два теленка на ферме — он статью в газету написал, так сказать, ославил весь коллектив фермы: такой он да разэдакий. А чего сделал секретарь Острецов, чтобы комсомольцы шли на фермы, где позарез люди нужны? А ничего не сделал. Или спросите у него, сколько было людей на лекции о вреде религии и знахарства. Были одни комсомольцы, которым товарищ Острецов приказал явиться на лекцию. Нужна она им как пятое колесо телеге, потому что каждый знает: религия — опиум. Потому что у каждого по восемь или по десять классов в башке, если не весь институт. А на другой день он шум устраивает: партийная организация не помогает ему бороться с пережитками прошлого, не приняла мер к обеспечению явки слушателей! Хочу спросить: кто кому должен помогать?.. Или опять же: озеленение поселка. Почему правление не организует посадку деревьев вдоль улиц? Милый наш, говорят ему, подними молодежь, выведи на улицы с лопатами, а уж насчет саженцев мы побеспокоимся. Так у него ж уроки, так у него ж другие нагрузки-перегрузки!.. На партийном бюро я предлагал таких секретарей гнать поганой метлой. Боятся у нас гнать! Говорят, припишут нам зажим критики, преследование и прочие ненадобности... Вот потому я и пишу Вам, товарищ секретарь райкома партии. Повострее приглядитесь-ка вы к работе комсомольской конференции, не допускайте таких, как Острецов, возглавлять молодежь. А то ведь, сдается мне, опять того же Острецова изберут делегатом на областную конференцию, а там сделают его членом обкома комсомола, а потом, глядишь, и членом ЦК ВЛКСМ. Пойдет он расти да укореняться, а меня это шибко, очень шибко беспокоит, дорогие товарищи из районного комитета партии...»

Чебаков положил письмо, снова погладил его на стекле.

— Вот, ребятки, и все, — сказал он глухо.

— Кто же это написал? — насупившись, спросил Григорий.

— Член партии Азовсков Фокей Нилыч.

Люба видела, как встрепенулся, изменился в лице Гена Раннев, как на его виске набухла и стала частить голубая жилка. Он согнулся на стуле, опустив голову почти до самых коленей — сухих и острых. Ойкнула и прижала ладошку ко рту Поля. Удивленно мотнул сивым чубом Григорий, зачем-то вытащив и опять спрятав коробок спичек. Сама Люба как-то не очень удивилась, когда услышала фамилию завхоза. Ей было совершенно ясно: старая тяжба между Азовсковым и Острцовым вынесена на суд общественности. В конце концов, Поля же вон пошла на ферму! Не это, очевидно, главное... Чебаков взял со стола пачку «Беломора», встал.

— Вы посидите тут. Взвесьте все хорошенько, без спешки. А я пока выйду покурить. Мы должны трезво ответить райкому партии.

— Я тоже покурю с тобой, — громыхнув стулом, поднялся Григорий.

Оставшиеся в кабинете молчали. Геннадий по-прежнему сутулился, смотрел в пол. От частого дыхания шевелился пушок над его верхней губой. Растерянная Поля крутила головой то в сторону Генки, то в сторону Любы, словно они могли разрешить все ее сомнения. В руках она комкала носовой платок. И только Лили Гуляевой как будто не касалась тревога, вызванная письмом Азовскова. Она сидела в уголке, морщила нос и что-то черкала в отпечатанных на машинке листках. Но неожиданно Лиля повернулась к Любе:

— Сложное письмо, правда? — Взгляд пристальный, серьезный. — Испачкает человека. Любят некоторые кляузничать.

— К чистому никакая грязь не пристанет.

— Это верно, — согласилась Лиля и опять уставилась в отпечатанные листы. — Можно подумать, что Острцов сильнее всей парторганизации. Кто в это поверит?! Просто не ладили между собой двое, вот и появилась жалоба...

— Ты упрощаешь, Лиля.

— Может быть!

Вошли Чебаков с Григорием. Чебаков сел на свое место и его глаза остановились на шофере:

— Начнем с тебя, Гриша. По солнцу. Твое мнение о письме?

Наверно, в коридоре они все обговорили, обо всем условились, но здесь Григорий вдруг замаялся:

— Видишь ли...

Чебаков удивленно приподнял брови:

— От нас ждут честного ответа. Комсомольского, нелицеприятного!

— Я и не собираюсь врать! — обиделся Григорий. — Лично я думаю так: подзагнул наш Фокей Нилыч. Славка правду любит, а правда кое-кому в носу щекочет. По крайней мере, он не ради какой-то личной прибыли старается.

— Так, ясно. Что ты скажешь, Поля?

Девушка поспешно встала, вытянув руки по швам, словно собиралась школьный урок отвечать. Все улыбнулись. Чебаков махнул ей: сиди-сиди.

— Владислав Петрович... Слава, то есть... — Поля смешалась. Только в прошлом году окончила она школу и все не могла привыкнуть, что строгий Владислав Петрович ей не учитель теперь, а товарищ, просто Слава. — В общем, он хороший секретарь. И учитель хороший. И я не знаю, — Поля почему-то недовольно посмотрела на Генку, который сидел все так же опустив низко голову, — не знаю, почему Фокей Нилыч на него... Критиковать надо, больше надо критиковать, чтобы жилось всем еще лучше, еще краше, чтоб все было, как в городе. Иначе к коммунизму мы будем...

— Тоже ясно! — мягко перебил ее Чебаков, боясь, очевидно, что она, распалясь, опрокинет на их головы все, что узнала о будущем за десять школьных лет. — Твоя очередь, Гена. Ты как?

— Никак. — Парень не поднял головы от своих острых растопыренных коленок.

— Непонятно.

— Говорю же — никак! Писал письмо отец мой. И я не могу же быть в таком случае объективным.

— Оте-ец?!

Кажется, одновременно произнесли это слово Чебаков и Люба.

— Ну да, отец. Неродной. Родной-то после войны недолго... А этот пятерых нас поднял... Отец он мне. Настоящий... И вообще, по-моему, ваш Острцов — барахло. Помню, в школе: ласковый в глаза,

похваливает, а в учительской: «Ох и тупица этот Иванов, ох, и бестолкова эта Петрова...» Сам слышал.

— Я тебя понимаю, Гена. — Чебаков сочувствовал парню, хотя и видно было, что такая неожиданность ему неприятна. Он торопливо засунул письмо в конверт и, бросив его в стол, хлопнул задвинутым ящиком. Чебаков даже на Полю с Григорием посмотрел с укоризной: что ж вы, мол, не предупредили?! Прошелся позади стола, повторил: — Я понимаю твои чувства, Гена... А что ты, товарищ Устименко, скажешь?

Любу немного покорибила его официальность. Всех называл по имени, по-товарищески, а ее — по фамилии. Чем это вызвано?

Она ответила тоже с подчеркнутой вежливостью:

— Думаю, что разбирательство письма не входит в нашу компетенцию.

— Но нам поручили разобраться!

— Вам или нам?

— Странно вы себя ведете, Устименко!

— И вы, Чебаков. Разбираться нужно не здесь, в кабинете, а в Лебяжьем.

— Но завтра конференция! Мы должны иметь мнение. Я лично хочу знать, как ты, новый в Лебяжьем человек, оцениваешь это письмо, каковы твои взгляды...

Чебаков нервничал, и фраза его теряла краткость и четкость. А Люба не хотела упрощать вопроса. Он ей не казался таким ясным, как Григорию или Поле. И Люба сказала, что воздерживается от категорических скоропалительных заключений.

Чебаков огорченно усмехнулся:

— И нашим и вашим... спляшем.

— Русские пляшут от печки. А вы хотите — от иконы!

— Странны твои рассуждения, Устименко, странны. От печки, от иконы! Чья это лексика?

Люба встала, прищурила глаза:

— Разрешите откланяться, товарищ секретарь?

Григорий тоже поднялся, осуждающе взглянул на красного, взвинченного Чебакова.

— Ну, что ты кипишь, Василий? У нас с тобой одно мнение, у нее — другое. Останемся каждый при своем мнении — и все! И кипеть тут нечего.

— Ладно, лебяжинцы, идите. Знаю, откуда ветер дует. У вас он всегда с одной стороны. Вам нужны сто Острецовых, чтобы переменить погоду. А на меня не гневайтесь — должность такая. — Чебаков вышел из-за стола, подал всем руку: — До завтра!..

Вышли на улицу. Фонари на столбах качались от ветра, будто отмахивались от роя снежинок, от ранней осенней темноты. Возле Дома культуры хрипел громкоговоритель.

Шли молча. Словно стали друг другу чужими, хотя и думали об одном и том же...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Острцов сидел на затертом диване в вестибюле гостиницы и с нетерпением поджидал возвращения своих делегатов. Делал вид, что читает книгу, а сам прислушивался к шагам у подъезда.

Как только лебятинцы вошли, он вскочил:

— О, какие вы заснеженные! Буран?

— Вьюга. Метель. — Григорий прятал глаза, с меланхоличной неторопливостью сбивал с плеч снежные эполеты. Потом стал колотить шапкой по колену, хотя снегу на ней давно не было. После паузы добавил: — Ух, и вьюга разыгрывается!

В свои слова он вкладывал смысл, неведомый лишь Владиславу. Однако по выражению лиц Владислав понял, что разговор у Чебакова был отнюдь не о выдвижении в состав райкома. Это беспокоило Владислава. Если речь шла о чем-то другом, то почему вместе с другими не был приглашен он, Острецов? И если в чебаковском кабинете не касались имени Острецова, то почему у вернувшихся товарищей такой отчужденный и виноватый вид? Возможно, для перестраховки Чебаков зачитал им то место своего доклада, где критикуются порядки в Лебятке и, в частности, поведение Любы Устименко? Нет, глядя на Любу, этого не скажешь, настроение у нее лучше, чем у других, — смеется, шутить пытается.

Владислав не решался ни о чем расспрашивать. Он надеялся, что комсомольцы сами разговоятся и выложат «секрет». Важно, чтобы они не разбрелись сейчас по номерам.

— Люба, ты к себе? Гена!.. Идемте все, товарищи, в наш с Григорием номер, я ознакомлю вас с моим завтрашним выступлением. Возможно, что-то подскажете, что-то посоветуете сгладить. Одним словом, коллегиально...

Генка точно и не слышал его приглашения: ссутулившись, пошагал в свою комнату. Владислав озадаченно повернулся к товарищам. Григорий пояснил:

— Животом мается! Любовь Николаевна, у тебя нет ли каких таблеток? Отнеси...

Люба понимающе кивнула Григорию.

— Я посмотрю в сумке... Вы идите, а я отнесу и вернусь...

Она сняла в своем номере пальто и пошла к Геннадию.

— Да-а! — недружелюбно отозвался парень на стук. Он стоял посреди комнаты, почти подпирая головой ее низкий потолок, и громкими глотками пил из стакана воду. Увидев Любу, смягчился: — Входите, Любовь Николаевна... Приглашать пришли? Не пойду. И не уговаривайте, пожалуйста. Вы еще не знаете этого Владислава Петровича, а я... На него надо вот через это стекло смотреть, чтобы увидеть настоящего! — Генка поднял перед глазами граненый стакан. — Прямое кривится, а кривое — прямится. Владислава Петровича увидите кривым, какой он и есть на самом деле. Так что напрасно вы пришли за мной!..

Люба засмеялась:

— Я еще ни одного слова не сказала, а ты столько наговорил. Не хочешь — не надо. Зря ты к нему с такой неприязнью... Это он должен бы презирать твоего отца. У человека хулиганы окна побили, ребенок замерзает, а завхоз Азовсков нарочно не дает стекла, мстит за что-то. Как это понимать, Гена?

У Генки на лице выступили малиновые пятна. Он сел на койку, пододвинул Любе стул. И уставился на репродукцию перовских «Охотников на привале», словно впервые увидел эту картину на стене. Медленно перевел глаза на Любу.

— Значит, Острецов знает о стекле?

— Недавно узнал. — У Любы мелькнула вдруг недобрая догадка: — Не ты ли, случаем, поколотил ему окна?

Генка нисколько не удивился ее вопросу.

— Не я, но знаю — кто. Острецов тоже знает, да не говорит, хотя и на шумел об этих окнах на всю область. Ребенок замерзает! Ребенок в это время был в другом поселке, у его матери... На месте отца я тоже не дал бы стекла ему. Что это за человек, который во всех видит врагов, бюрократов, лодырей, носителей пережитков.

— Ты сгущаешь краски, Гена.

— Я сгущаю?! — парень неожиданно расхохотался — искусственно, громко. — А вы спросите у своей хозяйки, кто сгущает! Прошлым летом он проезжал на велосипеде мимо ее двора, остановился: «Вынесите, тетя Анфиса, кружечку воды!» А она не вынесла. Через какое-то время читаем в газете статью о воинствующих староверах и сектантах. И в ней учитель лебяжинской школы приводит пример, как знахарка-староверка Анфиса Беспалая не дала ему воды напиться, «дабы не опоганить посуды». Брехня же! Он ее опоганил, тетю Анфису. Может, у нее воды в тот час не было в доме, может, она еще по какой причине, ну, как мой отец... А, черт с ним! — Генка махнул рукой, поднялся, налил из графина воды в стакан и с жадностью выпил. — Иди,

Любовь Николаевна, коллегиально решай там. Я не пойду. Завтра на конференции услышу...

— Полегчало? — спросил первым делом Григорий, когда она вошла.

Люба не ответила. Села. Владислав пошуршал листами:

— Мы тут кое-что уже поутрясли, Люба. Теперь — главное, основное. Ну, я опускаю вступление, оно такое, обычное... Читаю дальше:

«В своем принципиальном деловом докладе Василий Иванович Чебаков совершенно правильно критиковал лебязинцев, показал, так сказать, всю нашу изнанку. Мы признаем эту критику и берем ее на свое вооружение, ибо только благодаря принципиальной, нелицеприятной критике в нашем Лебязьем все здоровее становится обстановка, все чище воздух, колхоз все крепче: встает на ноги...»

— Ну, ты, Владя, подзагнул! — остановил его Григорий. — Не в одной критике же дело.

— Так ты ж напрасно перебиваешь, Гриша! Слушай, что дальше: «И тут, разумеется, огромное значение имеет воспитание масс. Грамотные, сознательные люди способны чудеса творить на благо Родины! На эту сторону деятельности комитет комсомола под руководством партбюро обращает серьезнейшее внимание. А в результате наше хозяйство успешно выполняет задания по продаже государству хлеба, мяса, молока, шерсти...» — Владислав перевернул лист: — Здесь я перечисляю передовиков, в том числе тебя, Поля, и Гену Раннева... А теперь берусь за чиновников повыше: «...Я не понимаю, какими глазами некоторые

ответственные работники отыскивают свою фамилию в ведомости, когда получают зарплату. Ведь со спокойной совестью расписаться в ведомости можно лишь тогда, когда знаешь, что ты эти деньги честно заработал. Вот приезжал к нам инспектор облоно. Целую неделю жил. И что сделал?! Вывел процент успеваемости, побыл на трех уроках, на прощанье покачал головой — и укатил. А мы ждали от него глубокой практической помощи... Или недавний визит второго секретаря райкома комсомола Лилии Гуляевой. Тоже несколько дней жила у нас. Знаете, что ее интересовало? Уплата членских взносов и оформление протоколов комсомольских собраний!..»

— Может, Лилю не стоило бы так? — нерешительно подал голос Григорий. — Она толковая девчонка.

У Владислава недобро сверкнули глаза:

— Девчонка, возможно, и толковая, а секретарь — слабый. И я собираюсь выступать не в институте благородных девиц, а на районной конференции. В комсомоле все должно быть прямо, откровенно, честно, без камня за пазухой...

Дальше Люба плохо слушала. Ее мучили сомнения. Если бы ее теперь спросил Василий Чебаков, как она относится к письму бритоголового завхоза, то ответила бы с той же уверенностью: «Да, разбираться надо не здесь и не так!..» Подперев лоб рукой, Люба делала вид, что сосредоточенно слушает Острцова, а сама внимательно всматривалась в его лицо, словно через эти голубые, широко открытые глаза хотела заглянуть в душу — какова она? Пришли на ум слова Анфисы Лукиничны: «Отходчивы наши люди, оттого и несправедливость всяческую терпят...» Не о Владиславе ли хотела сказать хозяйка? Он ее на всю область в

газете... Каков же ты, Слава? Кому из вас верить?.. Дай заглянуть в твою душу, Владислав Острецов! Поверь, очень и очень не хочется в тебе разочаровываться. Хочется, чтобы ошиблись и Фокей Нилыч Азовсков, и Гена Раннев. В конце концов, говоря словами Гениной подружки Тани, в конце концов, он, Фокей Нилыч, сподличал, не дал стекла, он, Геннадий, знает, кто побил окна, но молчит... Любовь Устименко не может верить им, но, против желания, не может и за тебя, Владислав, стоять...

Сомнения мучили Любу и на другой день, когда она пришла в районный Дом культуры и села в среднем ряду между Гришей Карнауховым и Полей. Генка устроился сзади них. Держался он замкнуто и даже вызывающе.

— Ребята! — Лиля Гуляева, выбежав на главный проход зала, похлопала в ладоши, призывая к вниманию. Была она изящная и юная в белой шерстяной кофте и голубой плиссированной юбке. В рядах мало-помалу стихло. — Ребята. Есть предложение до начала конференции спеть. Кто — за?!

С шорохом взметнулись три сотни рук. И Люба подивилась: какие они разные! Маленькие, тонкие, точно детские... Грубые, в ссадинах, с впитавшимся в поры машинным маслом... Розовые круглые пышечки... Костлявые, длиннопалые... Но все они принадлежали юношам и девушкам, от роду которым не меньше шестнадцати и не больше двадцати шести. Принадлежали они школьникам, учителям, трактористам, дояркам, врачам, счетоводам, продавцам...

Лиля, покачиваясь, помахивая руками, запела:

Забота у нас простая,
Забота наша такая...

И грянул хор, подхватил песню:

Не думай, что все пропели,
Что бури все отгремели...

Владислав Острецов помахивал крепко сжатым кулаком в такт песне. Генка пел сурово, вдохновенно. Пел Гриша Карнаухов, весело, улыбочиво, как пел бы, наверно, и песню о «Катюше», и песню о веселом ветре... Пела Поля, удивленно и немного с робостью...

Вышел на сцену за кумачовый длинный стол Вася Чебаков. Позвонил. Утихла, спала песня, словно река вошла в берега. И началась формальная часть: рабочий президиум... почетный президиум... регламент.... слово для доклада...

И доклад знакомый: на столько-то членов ВЛКСМ выросла районная организация за отчетный период... столько-то собрано членских взносов... пленумы райкома проводились регулярно, согласно уставу... Ну, а потом — о передовиках, об инициаторах, о массовости соревнования. Как водится, и о недостатках. Докладчик Вася Чебаков не скрывал недостатков. Потому что их было немало. Особенно в Лебяжьем. Заговорил он о лебяжинских недостатках и безобразиях. Хмурился Григорий. Растерянно оглядывалась вокруг Поля. Посапывал за спиной Гена Раннев. А у Любы сердце ныло, точно прощалась она с чем-то близким, родным, с которым не видно свидания в будущем...

— Лебяжинские труженики достигли определенных успехов, — говорил с трибуны Чебаков, изредка заглядывая в текст. Он умел выступать без бумажки, но

тут ведь — отчетный доклад! Правда, за трибуной он терял четкость и краткость фразы. — Еще выше были бы эти успехи, если б лебязинцы решительно боролись с пережитками прошлого, со всем тем, что мешает нашему движению вперед. К сожалению, старое, косное бытует там на каждом шагу. Приведу вам, товарищи, примеры. Молодая семья Бокаушиных на колхозной машине поехала в город за сто километров только для того, чтобы окрестить в церкви своего первенца. Или такой факт. Знахарка Анфиса Беспалая без зазрения совести практикуется в лечении больных. А молодой врач, комсомолка (не буду, товарищи, называть фамилии), этот молодой специалист покрывает ее, не разоблачает. О действиях Беспалой она ни словом не обмолвилась в своей лекции о вреде знахарства, которую прочла перед тружениками колхоза. И это понятно: врач живет на квартире у знахарки, не хочет терять с ней мирных отношений. Такое мирное сосуществование противно духу наших идей, нашей конечной цели. Думаю, новый состав бюро райкома возвратится к этому вопросу, ибо мы узнали об этом слишком поздно...

Люба слышала тяжелый, непрекращающийся шум в зале. Очевидно, это был шум возмущения. Ей казалось, что все взоры устремлены на нее, хотя фамилия ее и не была названа. Наверно, так вот чувствует себя человек, оказавшись обнаженным на людном проспекте. Но она не гнулась, не пряталась за креслами. Только плечами повела, словно хотела стряхнуть эти колючие, цепкие, как репейник, взгляды.

— Как твое самочувствие, Любовь Николаевна? — тихо спросил за спиной Гена Раннев, подавшись к Любе. — Вот она, критика, невзирая на лица!

Люба резко обернулась:

— Злорадствуешь?!

— Нет.

И тут она встретила с глазами Клавы Лесновой, сидевшей сзади Геннадия через два ряда. В глазах ее... Чего в них больше? Непонимания? Осуждения? Сочувствия? Очевидно, Клава не знала, как и что думать сейчас о Любе... Может быть, где-то в зале сидит и главврач района Леснов? Может быть, и он смотрит на нее, а завтра потребует официальных объяснений?

Чебаков, наверно, еще что-то сообщил о Лебяжьем, потому что критиковал правление колхоза и сельский Совет:

— Вместо того чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности, они даже не сочли нужным осудить поступок завхоза Азовского, который не дал Острцову стекла...

— Товарищ Чебаков, — перебил докладчика гость конференции, первый секретарь райкома партии Черевичный, сидевший в президиуме, — насчет Азовского — это проверенный факт?

— Вполне, Алексей Тарасович...

— Хорошо. Продолжайте. — Черевичный записал себе что-то в блокноте.

В перерыве только и говорили о докладе, какой он острый, принципиальный. Люба стояла у окна в фойе.

За окном сиял чистый холодный снег. В тени домов он был синий, с розовыми солнечными подпалинами у кромок. Почему-то снег напоминал Любе белые лилии, сорванные ею на старице летом.

Из радиолы хлынули звуки вальса. Молодежь закружилась в танце. Хороший, задумчивый баритон подпевал танцующим: «Это было недавно, это было давно...» И Любе стало грустно-грустно. Кто-то подошел сзади, тронул за локоть.

— Станцуем, Люба?

Владислав стоял перед ней с ясными голубыми глазами. «Таким бывает небо в апреле, когда цветут тюльпаны». Он был красив сейчас. И знал это. И потому чуточку снисходительно смотрел на Любу своими весенними безоблачными глазами. Но ведь в весеннем небе жаворонки поют, перелетные птицы летят, а тут — пустота. Как в глазах предателя. Или это уж — чересчур? Это — предвзятость?

— Станцуем, Любаша? Такой чудесный вальсок...

Люба подняла руку, он готов был подхватить девушку, но в это мгновение коротко и сухо щелкнула пощечина. Изумленно взметнулись красивые брови Владислава, он отпрянул и испуганно оглянулся:

— Ты с ума сошла! Ты с ума спятила! А если б кто увидел?!

— Я на это и рассчитывала, Острцов. И когда ты с трибуны сообщишь о том, что комсомолка Устименко влепила тебе пощечину в общественном месте, то я потом расскажу, за что я ее влепила.

— Так вот ты какая? Н-ну, Устименко, ты, вижу, далеко пойдешь!

Люба протискалась к Григорию. Он с любопытством рассматривал на стене диаграмму роста рядов комсомола.

— Идем танцевать, Гриша.

— С удовольствием!

Он свободно, легко лавировал между кружащимися парами. С его лица еще не сошел густой летний загар, но волосы и брови чуть-чуть потемнели, заметными стали ресницы.

— Видишь вон ту цыганочку-смугляночку? Так это... Та, которая остриглась в знак верности мне. Делегатка. Муж, говорит, в командировке.

— Ты, я вижу, что-то задумал?

— Да, задумал. Зачем он ей мозги заморочил? Грамотный! А ей не полных девятнадцать было... Слушай, а здорово нас в докладе, правда?! Это ему Славка фактиков подсыпал. Только насчет тебя немного перехватил, а?

— Лес рубят — щепки летят, Гриша. Не будем придавать значения.

— Правильно. Я тоже всегда так думаю. Главное — цель иметь большую. И к ней нужно идти, не обращая внимания на мелочи... Вот сейчас еще Слава выступит — повертится кое-кто!

После перерыва первым выступил Владислав.

Делегаты слушали, качали головами:

— А Лебяжий этот и впрямь, черт знает, что за поселок. Вечно там какая-нибудь история получается...

— Пустобрех этот Острцов! Всегда на выхвалку лезет, всегда другие виноваты...

Сказал это парень с обветренной красной шеей. Пожалуй, он один из всех чужих не аплодировал, когда Владислав кончил выступать. И Люба не аплодировала. Она смотрела, как шел по широкому проходу Острцов, не шел, а нес себя.

Дальше Люба почти не следила за ходом конференции. Она думала о том, что теперь ее жизнь в Лебяжьем будет вдвое, втрое сложнее, теперь она не знает, кто у нее друзья, но отлично знает — кто недруги.

Григорий склонился вперед, задев Любу локтем. Он хотел лучше видеть Острцова, сидевшего за Любой и Полей.

— Слава! — громко прошептал Григорий и, сцепив руки, выразительно потрянул ими. — Поздравляю! От души!..

Тот легонько кивнул: спасибо, благодарю! Был он спокоен и строг.

Люба подняла взгляд. С трибуны назывались имена кандидатов в состав райкома. Среди них была фамилия Острцова. Услышала ее Люба и в числе тех, кого выдвигали делегатами на областную комсомольскую конференцию.

«Фокей Нилыч словно в воду глядел!» — с горечью подумала Люба.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Утром за лебяжинцами пришел все тот же восьмиместный «газик-вездеход». Григорий влез в него первым, беззаботно посвистывая. Когда тронулись, он похлопал шофера по плечу:

— Налево, Сашок, сверни! Мне в одно место надо заглянуть... Так. Теперь — сюда. Молодец. Возле того дома стань, как вкопанный, Сашуня. Да-да, возле того!..

В кабине все молчали, ничего не понимая. Григорий продолжал насвистывать, но лицо его было бледным, напряженным. Люба не сводила с него глаз.

Возле небольшого каменного дома «газик» присел на всех тормозах. Григорий, все так же посвистывая, вылез в шоферскую дверцу, чтобы не беспокоить Любу, и не спеша пошагал в дом. Появился он с большим тяжелым чемоданом. Потом показалась разругавшаяся Дина. Опустив у ног узел, стянутый платком, и положив на него муфту, она торопливо накинула на дверной пробой замок, крутнула ключом и сунула его под застреху. Подхватив узел, побежала за Григорием к машине, воровато оглядываясь по сторонам.

— Потеснимся малость, — сказал Григорий, проталкивая чемодан и узел в кабину. — Родственница. Давно тетю не видела...

Поля и Генка подвинулись, уступая место. Владислав, казалось, даже не слышал, что говорил Григорий, смотрел мимо лиц. Дина села, сунула руки в муфту, спрятала остренький подбородок в серебристый мех лисьего воротника. Оглядела всех быстрыми черными глазами. Улыбнулась Григорию.

Григорий снова засвистел, переводя глаза с Дины на сверкающую под солнцем накатанную дорогу.

Подморгнул Любе и глазами показал на Владислава — молчи, дескать, до поры до времени. Люба понимающе кивнула и, опустив глаза, вернулась к своим думам.

Вчера после конференции к ней подошла Клава Леснова. Стала утешать, мол, не принимай все близко к сердцу. Леонид Евстифиевич не придает особого значения критике в ее, Любин, адрес. Это — свойственная молодости запальчивость.

Люба была благодарна Клаве за дружеское участие. Но под конец та все испортила: «Может, тебе и правда уйти от той старухи, Люба?..» Значит, в какой-то мере Лесновы согласны с Острцовым. И что им всем далась Анфиса Лукинична?.. И не Беспалая она! Даже фамилии не знают!..

Впереди блестела заснеженная степь. Под тяжестью инея низко провисли провода. На гляцевитой дороге показались темные точки. Сначала подумалось, что это конские «яблоки», но на самом деле это грелась стайка куропаток. Вытянувшись в пунктирную строчку, они побежали перед машиной, а потом вспорхнули и, сверкнув опереньем, исчезли.

На малой скорости спустились на мостик через речку, где Люба с Григорием застряли после августовского ливня. «Газик» легко взял крутизну. «А «вездеход» председательский хорошо выбрался...» — вспомнила Люба.

Показался Лебяжий. Серые шиферные крыши среди заснеженных деревьев. Скворечники над ними, словно черные вскинутые кулаки, грозящие бог весть кому. Кувыркающиеся в солнечном воздухе голуби... Вон и домик Анфисы Лукиничны под старым, полусгнившим

тесом. Лишь кое-где белел на нем свежими заплатками снег. Чем сейчас занимается хозяйка? Дома ли копошится, прибежав на обед, или все на ферме, возле малых телят?

Что ты ведаешь о ней, Владислав Острецов! Слышал звон, да не знаешь, где он. Да, Анфиса Лукинична любит собирать целебные травы, да, она заготавливает ягоды шиповника, боярышника... Это ее страсть. Но, собирая, она не копит, не развешивает по углам, а просто-напросто сдает в аптекоуправление. И ничего плохого нет в том, что иногда женщина посоветует пить настой чабреца при кашле или прикладывать подорожник при порезах или нарывах. Нельзя же делать из этого далеко идущие выводы, обвинять людей в невежестве и в покровительстве знахарству! И чем могла досадить тебе, Острецов, тихая, отзывчивая на людское горе и радость пожилая колхозница?

Однажды, наблюдая, как Анфиса Лукинична ловко действует иглой, зажимая ее в культе, Люба спросила: «Где вы потеряли пальцы, тетя Фиса? Отморозили?..» Та отложила шитье и скорбно, однако без упрека посмотрела на портрет казачьего урядника с широкой бородой, что висел над кроватью...

Тогда-то Люба и узнала печальную и потрясающую историю.

Бога Анфиса Лукинична и боялась и ненавидела с тех давних пор, когда семилетней девчуркой полезла посмотреть горку разноцветных, освященных в церкви яичек, стоявших в блюде перед иконами. Взяла одно полюбоваться, а они все вдруг зашевелились, поползли, стали глухо падать на пол, покатались под стол, под лавку, под кровать. Охваченная ужасом девочка

выбежала во двор и, заикаясь, пролепетала отцу, рубившему на бревне хворост:

— Па... папанечка... я разбила яички... освященные... Я не хотела, папанечка милый...

У отца глаза выкатились, борода затряслась от бешенства:

— Какая рука трогала? Клади на бревнышко!

Не помня себя, она положила. Сверкнул перед ее глазами топор. Боли она сначала не почувствовала, увидела только, как в пыль возле бревна упали ее тоненькие, выпачканные пасхальной краской пальчики. Еще вчера они, эти пальчики, с любовью раскрашивали те самые яйца, из-за которых сегодня отсечены тяжелым топором.

Отец выдохнул:

— Эт тя боженька пок-кар-рал!

А потом все было как в тумане, как в страшном сне: вой и причитания матери, дикий, застывший взгляд отца и — ее сморщенные, неживые пальчики, лежащие на чистом полотенце, которым до этого укрывали праздничные куличи...

— Вот так я и стала Анфисой Беспалой! — заключила со вздохом хозяйка, берясь за шитье.

— Зачем же вы портрет такого... ну, изувера держите над своей кроватью?

— А что портрет, дочка? Портрет пицци не просит... А мне он все ж таки родитель. Разве можно не почитать отца с матушкой!

...Шофер остановил «газик» возле правления колхоза.

— Минуточку! — торжественно, с хрипотцой сказал Григорий и решительно обнял за плечи Дину. — Хочу представить вам: моя жена Дина! Прошу любить и жаловать...

Владислав расхохотался первым:

— Н-ну, молодец! Столько молчал... Сюрпризик! — Протянул руки: — Поздравляем, поздравляем! Когда свадьба? Ждем приглашений!

— Свадьба... в следующее воскресенье! Так ведь, а? — глянул Григорий на Дину. Та кивнула. — Видите, Дина тоже согласна. Приглашаем всех...

— Спасибо! — весело поблагодарил Владислав, выскакивая из машины. Шоферу сказал: — Ты уж отвези их, Саша, не будут же они с чемоданом да узлом через весь поселок...

Шофер недовольно шмыгнул носом: «Вроде без вас не знал этого!»

Владислав смотрел вслед уехавшей машине и все покачивал головой:

— М-молодец! Всю дорогу — ни слова, а тут: «Прошу любить и жаловать!» Кто она такая? По-моему, я ее видел на комсомольской конференции...

— Кто, кто! Жена главного ветврача! Вот кто. — Генка журавлиной своей походкой пошагал домой. Заторопилась и Поля: «Как там коровушки мои?..»

Слова Генки ошарашили Острецова. Люба впервые видела у Владислава такое тупое выражение лица,

установился он на нее замороженными неподвижными глазами.

— Неужели это... правда?

— Да, правда.

Люба тоже направилась домой. Как Острцов поступит завтра, послезавтра?

Сзади слышалось сочное цоканье копыт по молодому прикатанному снегу. Люба сошла на обочину, обернулась. Серый длинный конь под расписной дугой-радугой красиво выбрасывал сухие легкие ноги. Яркие красные тонкие оглобли покачивались в такт его рыси. Под высокими подрезными полозьями голубых санок взвизгивал снег.

— Садись, доктор, подвезу! — из-под мерлушковой шапки пристальный взгляд беркутиных глаз. — Нам по пути...

Люба села на мягкое сено, глубоко вдохнула его душистый запах. Конь взял с места крупной рысью. Лицо обожгло встречным ветром. Любе все время казалось, что Азовский хочет что-то спросить. Но он молчал до самого Любиного дома. Придержал коня, красными большими руками натянув ременные, пахнущие дегтем вожжи. И снова пристально посмотрел в ее лицо. Люба поблагодарила и еще больше почувствовала, что он хотел ей что-то сказать. Тронул серого вожжой. Зацокали кованые копыта. Взвизгнули, как от щекотки, подрезные полозья. Покачивался на неровностях дороги голубой возок с желтыми разводами на высокой спинке...

Входя во двор, Люба отмахнулась от мыслей о завхозе: «Если б что-нибудь серьезное, то не молчал бы! А о письме ему и Генка расскажет...» Люба вошла в сени. Открыв дверь избы и еще не видя Анфисы Лукиничны, крикнула:

— Я сегодня не завтракала, тетя Фиса, прошу принять меры!

И осеклась. Возле стола сидела еще более скорбная, чем когда-либо, Анфиса Лукинична. Казалось, она вдруг состарилась лет на десять. Вероятно, так старились в войну женщины, получив с фронта похоронную. У нее ног валялся свежий номер районной газеты, его, видно, только принесли. Люба думала, что хозяйка заболела, но та лишь качнула головой в темном платке — говорили, что темный платок она не снимает с сорок второго года, когда на войне погиб ее муж. Тяжело шаркая подшитыми валенками, Анфиса Лукинична ушла в кухню. Недоумевая, Люба подняла газету. Увидела на второй странице большую статью о комсомольской конференции, а в нижнем правом углу — злую карикатуру: черная старуха с крючковатым носом, похожая на баба-ягу, мешает пестом в кипящем котле, а рядом стоит тонкая девица и заискивающе подставляет детское ведерко:

«Влей и мне, бабушка Фиса, своего снадобья! Врачи сказали, оно очень полезно».

Ниже была жирная подпись:

«В Лебяжьем процветает союз науки и невежества».

А в скобках:

«Из доклада секретаря райкома комсомола В. Чебакова...»

«Вот о чем хотел заговорить Фокей Нилыч!»

— Уходи от меня, дочка, — глухо сказала из кухни Анфиса Лукинична. — Не дадут тебе житья... Уж он такой, Острцов этот...

Люба прошла к ней на кухню. Не поднимая глаз, Анфиса Лукинична без нужды переставляла кастрюльки, перетирала и без того чистые тарелки, и руки у нее дрожали. Раньше Люба не замечала, чтобы они дрожали у Анфисы Лукиничны.

— Никуда я от вас не уйду, тетя Анфиса! — Она обняла хозяйку за худые плечи, прижалась щекой к ее голове. И та вдруг поникла, опустилась на скамейку:

— Да что ж это такое, дочка? За что же люди так?

По морщинистым щекам текли слезы, капали на руки, лежавшие на коленях. Говорили, что никто не видел слез Анфисы Лукиничны, говорили, что сердце у нее каменное.

И захотелось Любе сесть с ней рядом и наплакаться, выплакать все наболевшее. Но представилось вдруг, что ее плачущей видит Владислав. Видит и злорадствует. И она, стиснув зубы, переборола себя, свою слабость.

— Успокойтесь, тетя Фиса... Все переменится... Честное слово, этому будет конец.

— Эх, дочка, пока солнце взойдет — роса очи выест. Ты не обращай, на меня внимания, это я просто так. Старая стала. — Она вытерла концом платка щеки. — Одни глаза — и смеются, и плачут. Пойду на ферму.

Оделась и ушла. Люба поняла, что хозяйка не верит в хорошие перемены. Да и кто их будет делать, эти перемены? Она, Люба? Слабы силенки. Уехать из

Лебяжьего? Слишком легко достанется Острецову победа!..

Как-то вечером Люба задержалась на работе. Постучавшись, в кабинет вошел Генка Раннев. Глянув на белую эмалированную вешалку, почему-то не повесил на нее шапку, положил на кушетку. Сам опустился на стул под белым чехлом.

Люба, отодвинув тетрадь с записями, вопросительно смотрела на него. Погладив свои мосластые коленки, Генка покривился точно от боли:

— Бате выговор строгий вкатили. В районе... Мы с вами помогли. Тогда, в кабинете Чебакова... Ну, и доклад Чебакова на конференции. В общем, за гонение на молодых специалистов, за шантаж, за политическую близорукость. — Генка вздернул голову на худой мальчишеской шее, его маленькие глаза стали злыми-презлыми. — Чепуха все это! Чепуха с требухой!

— Успокойся, Гена...

— Успокойся?! Моего отца препарируют (у Тани словечко подцепил!), а я — успокойся?! Его слушать не хотят, инструкторы и прочие подготовили бумажки... А у отца пять орденов и шесть ранений, не считая контузий! — Генка передохнул, заговорил тише: — У них свои мотивировочки, Любовь Николаевна. Стекла не дал Острецову? Не дал. Бумаженцию на него написал? Написал. Мало? — Геннадий со злостью потер ладонями колени, точно они у него зябли. — Шантаж! Гонение!.. Вот ты, Любовь Николаевна, молодой специалист. Какое на тебя гонение со стороны колхоза? Никакого! Потому что ты человек объективный, порядочный...

— Что же ты предлагаешь делать, Гена?

— Таня говорит, надо все вверх тормашками поставить, до самой Москвы дойти, до ЦК!

— Таня. А ты? Расскажи тогда мне, как это вы хотите перевернуть. — Люба встала и прошла к двери: все время ей чудилось легкое поскрипывание половиц в приемном покое, словно там кто-то переминался с ноги на ногу. Она открыла дверь: за ней стояла Таня. Люба улыбнулась: — Входи, что ж ты! Вдвоем-то вам легче будет рассказывать о своих диверсионных планах.

Таня потрянула рыжими волосами, — даже в холод ходила с непокрытой головой! — смело переступила порог и села на кушетку, переложив Генкину шапку себе на колени. С мороза ее щеки были как переспелые помидоры.

— Мы напишем обо всем в Москву! — вызывающе подняла она маленький носик.

— Правильно! — насмешливо согласилась Люба. — Владислав пишет в газеты, сообщает по инстанциям, громит с трибун, а мы возьмем с него пример и тоже начнем строчить во все концы. — И сухо обрезала: — Так не годится! Он один, а нас много. Справимся сами.

— Да никто ж с ним не хочет связываться, Любовь Николаевна! — воскликнула Таня. — Знаете, что я один раз слышала от колхозного парторга? Он говорит, лучше мы один раз признаем критику Острецова правильной, чем одни раз напишем опровержение и двадцать раз — объяснительные записки по поводу опровержения. Так ведь легче: признал критику — и с плеч долой! А Владислав в геройчиках ходит. Его боятся, с ним через дорогу раскланиваются. Терпеть таких не могу, в конце

концов! — Таня сердито отбросила на кушетку Генкину шапку.

— Вот Лешка, друг мой, был человеком! — сказал Генка. — Если б не утонул, мы с ним придумали бы...

— Они подожгли бы Острцова, Любовь Николаевна! — язвительно вставила Таня. — В прошлом году Лешка побил стекла в окнах, а теперь обязательно подожгли бы...

— Ну, это уж ты зря, Таня! Лешка сглупил тогда. Террором не достигнешь цели, со школьной скамьи знаем.

— А за что Лешка стекла бил? — спросила Люба.

— Владислав не захотел принимать его в комсомол. Дескать, политически не подготовлен и в общественной жизни не принимает активного участия...

Таня подалась к Генке, загорячилась:

— Ты досказывай, досказывай! — Повернулась к Любе: — Лешка хорошо рисовал, Любовь Николаевна. Он отказался оформлять стенгазету, в которой Гену протаскивали. А Лешка считал Гену невиновным, и поэтому его не приняли в комсомол.

Люба качнула головой:

— Ну и дела у вас! Как говорят, нарочно не придумаешь.

Что она могла посоветовать?

Таня нетерпеливо ерзнула на кушетке.

— Что же вы молчите, Любовь Николаевна? До каких пор мы будем терпеть гадкую славу о Лебяжьем ради какого-то Славы?!

— А почему вы, собственно, пришли ко мне с такими претензиями?

Парень и девушка переглянулись: действительно, почему?

— Ну... вы старше, в конце концов, опытнее... Были же у вас в институте такие, как Острецов, разоблачали же вы их!..

— Не было у нас в институте таких. Вообще я таких еще не встречала... Давайте-ка поговорим обо всем этом на комсомольском собрании, а? Покажем Владиславу его настоящую изнанку, пусть знает, что мы ее видим. Вот вернется с областной конференции...

Генка сердито отвернулся.

— Кто же нам позволит обсуждать делегата будущего комсомольского съезда? — протянул он скептически.

Таня вскочила, впилась в Генку глазами.

— Как это — не позволят?! Да разве ему место на съезде?!

А Люба вдруг засомневалась: нужно ли заводить на собрании такой щекотливый разговор? Выступит на нем Генка — всем понятна его цель: защитить отчима. Выступит Таня — тоже ясно: Генкина любовь. Поднимется Люба — опять же причина прозрачна: мстит за критику, за карикатуру в газете. Вот ведь как ловко получается у Острецова! Как ни возьми — все равно вывернется, все равно его верх. Так-то у него и

строится всегда критика, потому и «признают» ее, потому и «прав» он. Значит, нужно молчать? Ради собственного покоя? А будет ли покой? Для Острецова, пожалуй, ничего нет святого, для него нет моральных принципов. Выходит, если ты на него не так посмотрел — жди «выявления» своих недостатков. Почему он на Любу ополчился? Потому что после той лекции о вреде знахарства она сказала ему: такие лекции только для отчетов хороши, для «галочки». Не так их, мол, надо готовить и не так проводить. Вот он и показал, как надо!..

Генка и Таня продолжали спорить между собой. Любе показалось, что они отмахнулись от нее, заметив ее пассивность. А ведь эта пылкая рыжеволосая девчонка, по-видимому, права: до каких пор они должны терпеть и бояться Острецова?! И кто за них постоит, если не они сами!..

Люба набрала воздуху в грудь, словно собираясь окунуться, шумно выдохнула:

— Попробуем! Начнем с собрания...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Стукнула дверь в коридоре, стукнула в прихожей, впустив облако морозного пара. Продолжая стрекотать электробритвой, Черевичный повернулся к входу. Вошел Острцов, весь в снежинках, как в гусином пуху. На улице повалил снег. Владислав улыбнулся, узнав Черевичного, а потом на мгновение смешался: секретарь райкома брился. В следующую секунду Владислав торопливо снял перчатку:

— Здравствуйте, Алексей Тарасович! Очень рад вас видеть... Благополучно ли доехали?

— Спасибо! — Черевичный переложил электробритву из правой ладони в левую, пожал протянутую руку. — Присаживайся. А я вот... Зарос, пока ездил по колхозам.

Черевичный был в толстом свитере, в зеленых диагоналевых галифе и в белых растоптанных валенках. Он еще раз два провел бритвой по подбородку и выдернул вилку из розетки. И в комнате установилась тишина. Пока Черевичный укладывал в саквояж бритву, Острцов настороженно приглядывался к его крупному лицу, стараясь отгадать, зачем он приехал и зачем вызвал. Но, кроме усталости, ничего не мог прочесть на свежесбритом лице с глубокой морщинкой через весь лоб. Он понимал Черевичного: нелегко руководить большим глубинным районом. Район много лет был отстающим и только в последние два-три года стал выходить в средние. А нынешняя зима обещала быть тяжелой: не хватало кормов для скота, и ремонт сельхозтехники, судя по областной сводке, еле-еле укладывался в график.

Что-то в Лебяжьем неладно, если Черевичный нагрянул вдруг в колхоз. Владислав час назад приехал из города с областной конференции. Только разделся дома, как пришла посыльная из правления: Черевичный вызывает! Черевичный молчал, лишь изредка изучающе взглядывал на гостя. Может быть, секретарь райкома прознал о выходке Григория Карнаухова, увезшего чужую жену, жену главного ветспециалиста района? Узнал и решил спросить с Острцова: как же ты, мол, допустил такое? Нет, ради этого Черевичный не

завернул бы в Лебяжий! Было у него что-то более важное.

— Ну, как живешь, Острцов? — спросил Черевичный, садясь за стол и разминая папиросу. Протянул пачку «Беломора» Владиславу.

— Спасибо, не курю.

Черевичный лукаво сощурил карий глаз:

— Молодец. И не начинай. — Затянулся. — Мы вот думаем тебя в секретари лебяжинской парторганизации рекомендовать. Переведем из кандидатов в члены партии да и порекомендуем. Когда срок-то истекает?

— Через месяц. — Владислав опустил глаза. — Хозяйство трудное, не потяну.

— А Жукалин тянет?

— У него — опыт, стаж. Только болеет, правда, частенько. И сейчас вот гриппует. Да и вообще не решаюсь сказать, кто здесь потянет. Очень народ тяжелый.

— Однако ж, работают лебяжинцы неплохо.

— А каких сил эта работа стоит партийному бюро и комсомольцам! — воскликнул Владислав и даже приподнялся с места.

— На то мы и партийцы, хлопче.

— На что Азовсков... коммунист, а... сколько с ним...

— Я приехал вас мирить. Наказали мы его, а он в обком поехал. Велено пересмотреть. Говорят, здесь что-то не так.

— Им, наверно, виднее. — В ответе Владислава звучала неприкрытая ирония.

Снова одна за другой хлопнули двери. Слышно было, как в прихожей, откашливаясь, кто-то обстукивает валенки. Острецов и Черевичный переглянулись: он!

Переступив порог, Фокей Нилыч Азовсков никому не подал руки, только кивнул и начал засовывать варежки в карман полушубка. Косо, из-под вздернутой брови повел на Черевичного глазом:

— Звали?

— Звал. Как съездилось в город? Здоровье как?

— Что ты, Алексей Тарасыч, издалека, с задов заходишь? — Азовсков, шурша промерзшим полушубком, опустился на стул. — Говори напрямки.

Черевичный вспомнил глуховатый, простуженный голос секретаря обкома в телефонной трубке: «Разберитесь объективно. Заслуженный человек, ветеран войны, зачем же — под крылья сразу...» А уже разбирались, уже увещевали, уже наказывали, хотя и строго, но объективно, доброжелательно. Вместо того, чтобы успокоиться, осознать ошибки, он к вам, в обком, поехал. А теперь вот лишь из-за него пришлось крюк почти в сто верст делать.

— Напрямки, говоришь, Фокей Нилыч? — Черевичный подошел к окну, словно в черном стекле хотел увидеть свое отражение. Увидел только силуэт широкоплечего, по-юношески подтянутого человека да залысины над лбом. Обернулся к Азовскову. — Скажу напрямки. Ну, чего тебе не хватает, дорогой Фокей Нилыч? Тебе мало выговора?

— Выговор не по адресу попал. Сдается мне, выговор вот ему полагается, — качнул Азовсков головой в сторону Острцова.

— Значит ты, дорогуша мой, ты, Фокей Нильч, остаешься на прежних позициях? Значит, ты против линии партии на развитие критики и самокритики?

Азовсков отвернулся от Черевичного. Снял шапку, погладил бритый череп.

— Не знаю, секретарь, как насчет линии, ты грамотнее меня; у тебя я и значок университетский видал... Только, сдается мне, линию партии ты подменяешь линией эдаких острозубых, как вот он, Владислав преподобный...

Черевичный шагнул к ним.

— Давайте забудем, что было. Забудем! Протяните друг другу руки — и квиты. Вам вместе жить, вместе работать. Одно общее дело у всех у нас, и не стоит нам один другому кровь портить. Ведь на мелочи, дорогуши мои, размениваемся, на мелочи! Помиритесь — и все!

Владислав встал, дружелюбно взглянул на Азовскова:

— Я — охотно. Я никогда не желал зла Фокею Нильчу.

Азовсков тяжело поднялся, натянул на большую бритую голову шапку и стал вытаскивать из карманов вязанные варежки. Вздохнул:

— Ни черта вы меня, сдается, не поняли! Ровно я об себе пекусь, ровно, моя думка — о личной шкуре.

Не попрощавшись, ушел своей неторопливой походкой.

— До чего трудный человек! — в сердцах сказал Черевичный и, глядя на Острецова, снял с вешалки полушубок. — Попробуй такого бодливого перевоспитать. Вижу, хлопот он нам еще подкинет.

— Алексей Тарасович, может, ко мне на чашку чая?

— Чаю? Неплохо бы! Впрочем, через час дома буду. Спасибо. Ты не падай духом, Острецов. Поддержим! — Черевичный поискал в карманах ключ зажигания от машины, успокоился: — Думал, выронил в снег... Да, слушай, Острецов, что у тебя тут за история с комсомольцем Карнауховым?

«Все-таки и до него дошло! — мысленно чертыхнулся Владислав, чувствуя, что на лбу выступила испарина. — Наверное, Динкин муж пожаловался».

Владислав сказал, что Григория Карнаухова они завтра же разберут на комсомольском комитете, заставят навести порядок в быту. О результатах он, Владислав, сразу же позвонит товарищу Черевичному.

— О каком порядке ты говоришь, дорогой Острецов? — поморщился Черевичный, натягивая на голову пушистую ондатровую шапку. — До тебя приходил сюда этот комсомолец. Он говорит, что ты даже на свадьбу к нему отказался идти.

— Но ведь, Алексей Тарасович... Его же наказывать надо!

— За что?! — повернул Черевичный крупное лицо к Владиславу. — За любовь? Они же любят друг друга. Дай бог, чтобы побольше людей друг друга любили!

Вышли вместе. Черевичный сел в свой облепленный снегом «вездеход» и, будто прикипев к рулевой баранке, умчался.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Но вы не возражаете, Павел Васильевич?! Не возражаете?

Жукалин развел бледными худыми руками:

— Третий раз ты меня спрашиваешь об этом, Любовь Николаевна! Пришла лечить, а сама температуру мне поднимаешь эдакими вопросами.

Люба настаивала:

— Но вы не возражаете?

— Нет, нет, в сотый раз — нет! — Жукалин рассмеялся и закашлялся. — Слабы у тебя силенки, дочка... У Острцова больше силы. На его стороне больше прав и правды.

— Собрание покажет, у кого чего больше. Вы просто влюблены в Острцова и не хотите замечать, что он ловкач, карьерист.

Жукалин снисходительно улыбнулся и покачал головой:

— Ошибаешься, дочка... У него обостренное чувство ответственности за все, что делается вокруг нас. Совесть у него очень ранимая... А ты не унывай! Жизнь — добрая мама: одной рукой шлепка даст, другой — по головке погладит...

«А если жизнь — мачеха?» — Но Люба не сказала этого. Она поняла, что секретаря парторганизации не

переубедить. Хорошо, хоть согласился не мешать им. Даже согласился прийти на это комсомольское собрание, задуманное Генкой, Таней и ею. «На четвереньках, — сказал Жукалин, — но приползу. Накостыляет он вам по шее, ей-ей».

Жукалин полусидел в кровати. На тумбочке лежали таблетки, пачка горчичников, стоял стакан с крепким чаем. Люба выхаживала его от гриппа. Надо, чтобы он быстрее поднялся. Пускай придет и послушает, что будут говорить о Владиславе комсомольцы.

— Ак-хы! Какой-то паршивый грипп свалил, — хрипел Жукалин с досадой. — В гражданскую, бывало, осенние реки переплывали в амунии, на снегу спали — и хоть бы что, даже не чихнешь ни разу. А во время коллективизации! Мать ты моя родная, месяцами не спали, не ели, по району носились с агитбригадой... И не болели, и не ныли, и все у нас правильно получалось. Ошибались, конечно, перегибали, но все ж таки главную линию правильно держали. Э, время было, дочка! Острецов ворошит, бушует, сражается, чтобы людей спячка не одолевала, чтобы люди равнодушием, как салом, не заплывали. Понимать надо, Любовь Николаевна, понимать!

Он опять долго, по-стариковски кашлял. Отдышавшись, сказал жене, хлопотавшей возле печки:

— Видала? Не хуже нас с тобой нынешняя молодежь. Настырная!..

На улице вьюжило. Согнувшись, Люба бежала навстречу ветру, пряча лицо от колючего снега. И столкнулась с Генкой Ранневым. Он увидел ее, еще когда она выбежала от Жукалиных. И остановился,

поджидая, длинный и тонкий, как телеграфный столб. Чтобы посмотреть ему в лицо, надо было задрать голову. От его промасленной одежды пахло соляжкой и копотью.

— Слыхала?

— Что?

— Приехал!

— Жукалин не возражает. Только не верит в успех.

— Вместе пойдем к Острцову?

Люба почувствовала нервный озноб в теле. Вот и пришла та минута, когда нужно прямо глянуть Владиславу в глаза и сказать, что они вызывают его на открытый беспощадный бой. Чтобы этот бой состоялся, он, секретарь комитета, должен объявить комсомольцам о собрании с повесткой дня, которую предложат Люба и Геннадий.

— Я одна схожу к нему, — сказала Люба. — Так лучше.

Генка кивнул и направился к ремонтной мастерской.

Владислава Люба не застала дома. Нина укладывала спать двухлетнего карапуза, а он тарасил на мать голубые, отцовские глаза и смеялся. Нина легонько шлепнула его и тоже рассмеялась:

— Хулиган ты у меня, Сергей! — Отошла от кроватки, пригласила Любу: — Проходи, садись! Слава сейчас вернется, его зачем-то в правление вызвали. Не успел приехать, как понадобился, покоя нет... Что-то в последнее время не заходишь к нам, Любонька. Времени не хватает, да? Это всегда так говорят, когда не хотят у кого-то бывать. Думаешь, не знаю, почему не заходишь?

— Должна бы знать, — вяло ответила Люба, подумав, что ученикам на уроках Нины должно быть не скучно. Повторила: — Должна.

— Конечно, должна, — обрадовалась хозяйка, взмахнув длинными пушистыми ресницами. — На моего Славку сердисься. И зря, Люба! Он самый безобидный человек. Только безалаберный какой-то, бестолковый, лезет кругом, все хочет, чтобы лучше было. И на кой тебе нужно, говорю? Тебе больше других надо? А он: костями лягу, но порядки наведу! Ох уж и настырный он у меня, Люба! Ты еще не знаешь его. Вот в прошлом году... Сергей! — метнулась она к детской кроватке. — Не смей мне вставать, поганец этакий! — И без передышки продолжала: — В прошлом году поехала я на курорт... Сердце у меня... Поехала, а Славик покоя лишился: чуть ли не каждый день звонки да телеграммы. Сегодня сообщает: я собрался к тебе! Завтра: я купил железнодорожный билет! Послезавтра: сажусь в самолет и вылетаю!.. И так — целый месяц, целый месяц! — Нина счастливо рассмеялась: — Ревнивый он у меня! Весь месяц держал меня в напряжении, не отдохнула, а устала я от его звонков и телеграмм...

Люба, сидя на диване, листала журнал, мимоходом подсунутый ей Ниной. С книжного шкафа на нее пристально смотрел стеклянными глазами ястреб. Он был как живой, Владислав умел делать чучела. Любе вспомнился берег старицы, вспомнились слова Острцова: «Напоминает он мне одного человека...» А Любе ястреб напоминал самого Владислава. Она положила журнал и встала.

— Пойду. Может, в правлении застану...

— Ты не обижайся на него!

— Мне по должности не положено обижаться... На свадьбу собираетесь? Вот Гриша действительно обидится, если не придете!

— Пусть обижается. Порядочные люди так не делают. Чужую жену увез да еще и пир на весь мир затевает. — Нина повторяла слова мужа. Доставая из хозяйственной сумки стопку ученических тетрадей, сокрушенно вздохнула: — Ох и не люблю тетради проверять! И почему не придумают какую-нибудь электронную проверяющую машину. Слава и то не выдерживает, говорит, пора ему уходить с учительской работы... Говорит, это только в газетах пишут и в кино показывают, что бывшие ученики любят своих бывших учителей. В жизни, говорит, все по-другому, жизнь — одна нервотрепка. Слишком мало на земле людей, которые бы долго помнили добро. Слава прав...

— У тебя всегда одно: Слава прав! Он у тебя обожаемый небожитель...

— А что?! — ревниво насторожилась Нина. — Завидно?

— Говорят, зависть — черное неуважение к себе. Я другое, Нина, имею в виду. Тебе никогда не казалось, что твой Слава ошибается? Нет? А что если б, допустим, твою маму так освистали в газете, как Анфису Лукиничну? Или тебя? Как бы ты на это посмотрела?

Нина села рядом с Любой на диван, взяла ее руки в свои, порывисто сжала:

— Любонька, но ведь он не хотел этого! Все само собой получилось! И ведь не из корысти Слава наживает

себе недругов. Как ты не поймешь этого! Он хочет, чтобы жизнь стала красивее, радостнее. Он часто цитирует Сергея Чекмарева:

Всему — даже нам с тобой — придет черед умереть.
И только красивой песне дано без конца звенеть...

Помнишь? Слава хочет, чтобы жизнь до конца песней звенела!

— Я не знала этих слов. — Люба помолчала, мысленно повторяя строчки стихотворения. — Хорошо сказано, Нина. А Владислав некрасивую песню поет. И если бы ты на него повлияла, Нина! Если бы!..

Нина, опустив голову, прижала к горящим щекам ладони. Может быть, впервые за все годы жизни с Владиславом она заколебалась, усомнилась в его непогрешимости.

Под окнами послышался скрип снега. Нина вскочила, прижалась головой к голове Любы, близко заглянула ей в глаза:

— Ты все-таки не сердись на него! Он из чистых побуждений... Не ошибается тот, кто ничего не делает..

Она кинулась на кухню подогревать молоко: Владислав пожаловался, что у него горло побаливает. А Люба сидела и думала о том, что круг, собственно, замыкается. До самой последней минуты она надеялась: все как-то утрясется, при помощи Жукалина и Нины с Владиславом можно будет найти общий язык. Но они будто круговой порукой были связаны, всячески защищали Владислава. А вот сейчас ей, Любе,

предстояло встретиться с Острцовым. И ей страшно стало: посильную ли ношу взяла на себя?

Владислав разделся в прихожей, чмокнул Нину в щеку и вошел в горницу. С холода лицо его было румяным, на бровях блестели капельки от растаявших снежинок. Он внес с собой запах вьюжной степи и крепкого мороза. За руку поздоровался с Любой и нагнулся к кроватке сына, поцеловал ручонку. Оживленно обернулся к Любе, скованно сидевшей на диване.

— Ты что это не раздеваешься, Любовь Николаевна?

— Я на минутку забежала...

Нина внесла бокал горячего молока и подала Владиславу. Сказала, что ей пора на педсовет в школу.

— Ты не пойдешь, Слава? — а сама просительно поглядела на Любу: не надо, не трогай ты его, пожалуйста!

— Устал зверски, Нинок, и промерз...

— Вот и ладно, с Сергеем побудешь, — без радости сказала она и украдкой вздохнула.

Нина собралась и ушла.

Владислав шагал по комнате взад-вперед, осторожно отхлебывал из бокала. Иногда останавливался перед чучелом ястреба, молча глядел на него и отходил с многозначительной улыбкой.

— Да, чуть не забыла! Поздравляю тебя с избранием в члены обкома! — Люба через силу усмехнулась. Она и сама не понимала, почему вдруг стала робеть. Неужели боялась Острцова?

Он мельком взглянул на нее: «Заигрывает?»

— Спасибо. Откровенно говоря, не ожидал...

Люба молчала. Не ожидал, что изберут, или не ожидал, что Люба поздравит с избранием?

Он снова остановился перед чучелом ястреба, грея ладони о горячий бокал.

— Зима нынче буранная. Закрома ее полны снега. Урожай хороший будет. Урожай радует людей. Когда урожай хороший, люди мягче становятся, душевнее, доброжелательнее. А вот на Фокея Нилыча никакая погода не влияет.

— По-моему, и на тебя тоже.

Он быстро обернулся к Любе. Сжимавшие бокал пальцы побелели от напряжения. Голубые приветливые глаза стали холодными, чужими.

— Ну-ну!

У Любы было такое состояние, будто она в ледяную воду входила.

— Именно душевностью и доброжелательством людей ты пользуешься как лестницей. Медленно, но верно взбираешься.

— Ты... сейчас с Азовским встретилась? — перебил он. — Его школа угадывается.

— У самой зубки прорезались. И не молочные!

— Хо-хо! Поздравляю. — Владислав поставил пустой бокал на стол, склонился над сыном — мальчик спал. — И что же ты собираешься делать со своими зубками?

Он стоял перед ней, сильный, красивый, уверенный в себе. Руки заложил за спину, легонько покачивался на носках. Люба встала. Она почувствовала себя увереннее. Сейчас у нее было такое же возбужденное состояние, как на конференции, когда ударила Владислава по щеке. Теперь Люба сама себе казалась сильнее, увереннее Острцова. Поэтому и тон у нее стал более миролюбивым, увещающим.

— Мне всегда хотелось по-хорошему с тобой поговорить. И всегда не получалось. Неужели ты на самом деле считаешь, что ведешь себя правильно? Одумайся, Слава, ты погубишь себя.

На мгновение в его глазах появилось беспокойство, но потом они снова застыли, стали холодными. Владислав прошелся по комнате.

— Одним словом, ты предлагаешь мне сложить оружие, превратиться в сюсюкающего, восторженного обывателя. Слава богу, у нас их и без меня хватает! Иногда их преподносят и в беллетристике, где герои любят, как ангелы, и никогда не напиваются, и не надо им зарплаты, и они бросают любимых ради мелочного одолжения обществу. А жизнь сложна, Люба, люди — эгоисты. И нужно писать и говорить обо всем этом, пусть слушают, читают, воспитываются.

— Но ты не вытраваляешь дрянь, а смакуешь. Очерняешь даже действительно светлое и святое.

— Ты просто не созрела еще, чтобы понять все это. Ну подумай, на кого ты опираешься? В пустоте даже птица не летит, ей нужно сопротивление среды, от которой она может оттолкнуться. А ты окружена пустотой.

— Хорошо. Допустим. Но я хотела бы этот наш разговор продолжить на комсомольском собрании. Пусть люди рассудят. Жукалин согласен.

— И я согласен!

Люба не ожидала, что Владислав так быстро согласится. Неужели она и впрямь в чем-то ошибалась? А Владислав опять, заложив руки за спину, покачивался на носках и с иронией смотрел на нее:

— Упадет камень на кувшин — разобьется кувшин, упадет кувшин на камень — все равно разобьется кувшин. Слышала такое? И так и этак ты проиграешь, Любовь. Не по себе дерево рубишь.

— Ты очень самонадеян.

— На моей стороне правда! — жестко сказал Владислав и отвернулся от Любы.

Почти слово в слово повторил он выражение Жукалина. Можно было уходить.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На столе лежала записка. Люба поднесла ее к окну, с трудом разобрала каракули:

«Ушла Матрене памагать. Суп на загнетке. Самавар горячий».

Ясно. У Карнауховых продолжалась свадьба, и Анфиса Лукинична чуть свет убежала помогать жениховой матери стряпать на кухне. А дома успела печь вытопить, сготовить завтрак, вскипятить самовар. «До чего же вы беспокойная, тетя Фиса! — улыбнулась Люба, положив записку на подоконник. — Я ведь и есть не хочу...»

Люба потянулась сладко, лениво. Сделала несколько гимнастических движений. Спешить было некуда — воскресенье. На свадьбу она сегодня не собиралась идти. После вчерашнего в голове шумело. Пила только шампанское, а разбитость во всем теле чувствовала необычайную. Это все Генка! Раззадоривал их с Таней: «Медики должны неразведанный спирт пить, а вы и от шампанского отказываетесь... Ну, какие вы медики! Пейте!» И подливал, подливал им в стаканы...

Потом у Генки испортилось настроение. Испортилось оттого, что на свадьбе появились вдруг заснеженные, дряхлые дед с бабой. Старик был лохматый, заросший бородой до самых глаз, прятавшихся под седыми вислыми бровями. Из-под рваного полушубка на спине выпирал большой горб. Сбоку у старика висел короб, обклеенный лубочными картинками и яркими конфетными обертками. Старуха была в каком-то ветхом зипуне, закутана в шаль — лишь глаза в щелочке мерцали. Она опиралась на посох и длинно притворно кашляла.

Старики встали рядышком и спели какую-то старинную заздравную свадебную песню, после этого раскланялись во все стороны. Им поднесли по рюмке, и тут неожиданно погас свет. Поднялась веселая суматоха. Но свет вдруг вспыхнул, и все ахнули: деда с бабой не было. Посередине избы улыбался красавец в плисовых шароварах и кумачовой атласной рубахе, перехваченной по поясу шелковым шнуром с кистями. В руках у него поблескивала лаком балалайка, а сбоку все тот же короб висел. Некрасовский корабейник! Рядом с ним смущенно улыбалась девица в русском нарядном сарафане. Владислав с Ниной.

Гости кричали: «Браво! Молодцы!» Владислав ударил по струнам, сыпанул по избе виртуозную трель, схватил за сердце подмывающей сладко знакомой мелодией. А Нина кончиками пальцев развела широкий подол сарафана, топнула и поплыла, поплыла по кругу, озорно и лукаво маня за собой молодца. И он шел, торопился за ней, а балалайка звенела, ликовала, просила: «Выйди, выйди в рожь высокую!..» Но не останавливалась, убегала в легком плясе «душа-зазнобушка». И тогда кинул кому-то в руки балалайку коробейник, выхватил из-за пазухи свирель и пустил стремительные пальцы по ее ладам: «Не торгуйся, не скупись: подставляй-ка губы алые, ближе к милому садись!..» Потом распахнулся короб, стрельнула хлопушка, посыпались разноцветные конфетти, взметнулись, полетели шуршащие ленты серпантина...

Люба слышала шепот Дины: «Какой он замечательный! Какие они замечательные, Гриша!» А гости восторженно аплодировали, кричали. К Нине и Владиславу на костылях протискался отец Григория, расцеловал их расчувствованно. Вылез из-за стола и Григорий, долго, потрясенно жал руку Владиславу.

— Ловок, — бормотал насупленный Генка, — попробуй-ка теперь подняться против Острцова. Ловок!

Кто бы мог подумать, что в педантичном Острцове запрятан такой талантище виртуоза-балалаечника, такое мастерство перевоплощения! И не укладывалось в голову: как мог этот обаятельный красивый парень делать людям пакости? Кто его испортил, когда?..

Люба оделась и вышла на улицу. Хотелось подышать свежим воздухом.

После вчерашнего снегопада деревья стояли в снежной фате. Принарядились, посвежели избы. А ноги утопали в пушистом, сказочном белом ковре. Под валенками хрустело мягко, негромко.

Навстречу летели кони. Навстречу — свадебные тройки в лентах, с колокольцами и бубенцами. Из-под копыт, из-под саней дымком взвихривался снег. Взвихривались над санями смех, удалые выкрики, песни...

Мчались тройки на Любу. Она сошла на обочину.

В передних санях, стоя, без шапки, гикал на коней Владислав, намотав на кулаки ременные вожжи. За его спиной смеялись и смотрели только друг на друга жених с невестой. Были в санях Таня, Генка, Поля, еще кто-то — не успела разглядеть. Они махали, кричали Любе. Мелькнула желто-синяя дуга-радуга над серым коренником, мелькнули взмыленные, всхрапывающие пристяжные... Еще тройка, еще! Проносились, как ветер, исчезали в переулке, который вел за околицу, за старицу, в лес. А последняя круто развернулась и остановилась возле Любы. Выпрыгнул из саней сероглазый парень... Люба и ахнуть не успела, как он подхватил ее на руки и упал вместе с ней в сани:

— Гони!

— Сумасшедший! — засмеялась она, узнав в хохочущем парне Василия Чебакова.

Кони понеслись вдогон тем, кто уже скрылся в зимнем лесу. А в санях продолжалась кутерьма: кто пел, кто свистел, кто приплясывал, держась за чужие плечи. Подобрали Генку и Полю, с головы до ног облепленных снегом. Потехи ради их столкнули с передних саней и

ускакали. Пример оказался заразительным, в Любиных санях разгорелась борьба, поднялись визг, хохот, то один, то другой пассажир вываливался в придорожный сугроб, барахтался в нем и с трудом догонял рысящую тройку. Чебаков все изловчался Любу столкнуть, однако не удержался на боковой грядущке саней и упал сам. Еле-еле настиг сани. Прыгнул в них, выдохнул запаленно:

— Н-ну, держись, доктор!

Им помогли! Стокнули обоих в снег и, гикнув на лошадей, умчались, скрылись за крутым поворотом дороги. Только слышно было удаляющееся позвякивание колокольчика и бубенцов.

— Вот и доигрались! Теперь жди, пока вернутся...

— Не вернутся. Кружной дорогой намечали ехать. Чтобы с другой стороны в поселок...

— Еще лучше! — досадливо сказала Люба. — А у меня полон валенок снегу.

— Вытряхнем. Держись за меня.

Опершись на Василия, Люба стащила валенок, выколотила из него снег, отряхнула шерстяной носок. Смутилась, заметив на себе пристальный взгляд парня.

— Что ты так смотришь?

Он отвел глаза:

— Решаю уравнение с двумя неизвестными.

— Неизвестными...

— Нет, неизвестными!

— Что же мы теперь будем делать?

Василий засмеялся:

— Думал попить да попеть, ан плясать заставили! В лесу на дороге... Давай побродим по лесу, а? Если не торопишься, конечно. У Острецова спросил однажды: куда ты вечно торопишься? В бессмертие, говорит! Ты не хмурься, Люба, тебе это не идет. Когда я смотрел на тебя, то действительно решал уравнение с двумя неизвестными. Оба вы для меня некая загадка. Толковые, умные люди, а поладить не можете...

— И не поладим.

— Поладите! Звонит он мне вчера: приезжай, Василий, на свадьбу, порадуй молодых, отбрось ханжеские предрассудки и прояви терпимость... Длинно, в общем, уговаривал. Поразмыслил я. Действительно, ну почему бы не поехать? Бывший муж никаких претензий не предъявляет. Дина с Григорием давно друг друга любят. Оба хорошие комсомольцы. Говорю шоферу: свози в Лебяжий! А вначале-то я погорячился, когда Владислав сообщил про эту историю. Принимаю, говорю ему, крутые меры! Куда это годится — комсомолец разбивает чужую семью. А Владислав трезвее взглянул на вещи. Действительно, мы иногда ханжески подходим к вопросам морали. Лишь бы, мол, тихо-гладко...

Василий был оживлен, разговорчив.

— Минутку! — Он остановил Любу, прислушался: далеко-далеко вызванивали колокольчики. Василий вздохнул: — Умели в России свадьбы играть! И, слава богу, не везде еще разучились... Послушаешь нынче: молодоженам непременно надо преподнести ключ от

новой квартиры. И еще — мебельный гарнитур. Наверно, это правильно. Но по мне — лучше с первого гвоздя начинать. Самому, своими руками, не на готовом, дармовом...

— Неизвестно, зачем тебя секретарем райкома избрали! Такие отсталые взгляды.

— Да вот, избрали...

Люба свернула на тропинку, сокращавшую путь к Лебяжьему.

Они шли и будто листали белую книгу зимы. Василий был ее толкователем. Вглядывался в иероглифы следов:

— Хорь охотился. Вот видишь, хотел куропаткой полакомиться, да стайка из-под его носа вспорхнула. Но ему повезло. Он разыскал нору лугового суслика. Смотри, сколько земли и снега разгреб, пока не освободил входное отверстие. Суслик его с осени забил. Наверно, поужинал хорь спящим хозяином, а теперь дрыхнет в его же норе. Обратных следов нет.

На краю осинового перелеска стоял стог сена в громадной, картинно сдвинутой набок снежной папахе. За ним Люба и Василий увидели пару темно-бурых лосей с телятком. Животные спокойно посмотрели на людей большими влажными глазами и продолжали угощаться ветками осины.

— Лесники утверждают, что лоси больше всего любят объедать осину, — сказал Василий. — Красивые животные... А вот еще одна поляна! Летом тут чьи-то бахчи были. Смотри, следы! Ночью русак жировал. Косой соблюдал осторожность, мало наследил. Где-то рядом и залег...

Василий заложил пальцы в рот и пронзительно свистнул. Заяц прятался меж пластов пахоты. Он шастнул в кусты, белый, почти невидимый на снегу. Но в зарослях замедлил свой скок, проваливался — невыкошенные травы высоко держали пушистый легчайший снег.

С пугающим треском крыльев взлетела тетеревиная стая, подняв облако снега, и уселась на вершину самого высокого осокоря. Сейчас они были крайне осторожны, и даже самый искусный охотник не подкрался бы к ним на выстрел.

А промеж веток колючего терновника шустро скакали красногрудые снегири. Словно огоньки перескакивали с ветки на ветку. Куст с тихим шелестом окутывался белым снежным дымом.

Соединенные тропкой, поляны распахивались перед глазами одна за другой. Так весенние озера соединяются одно с другим узкими протоками.

Василий шагал впереди Любы, разгребая валенками снег. Удивленно и восторженно смотрел вокруг:

— Неужели я когда-нибудь привыкну вот к этой красоте?! И не буду ей радоваться! Зима, и — какая красотища! А летом! Цветы красные, желтые, белые... Листва, травы — зеленые, небо — синее... Дух захватывает! И страшно, что люди иногда перестают замечать это чудо...

— Ты, вижу, не случайно на агронома учился.

— Не случайно.

Люба выросла в деревне, любила природу, но вот так как Василий, пожалуй, впервые увидела и

почувствовала ее. К сожалению, думала она, люди многое в мире видят и понимают по-разному. Даже Острцова они с Чебаковым по-разному видят, чему ж тут удивляться!

Где-то недалеко деловито постукивал дятел. Пролетели говорливые чечетки. Северная птица откочевала на зиму сюда, в более умеренные края. На родине, вероятно, мало пищи было... Впереди белой тенью прошмыгнул горноста́й. На тропинке остались следы его пиршества — алые капельки крови. Позавтракал зазевавшейся мышью.

Когда проходили под широкой, отяжелевшей от снега кроной вербы, Люба подпрыгнула и тряхнула нижнюю ветку, а сама с хохотом отскочила в сторону. Все дерево пришло в движение, и на Василия обрушилась лавина снега. Несколько секунд парня вообще не было видно в клубящемся снежном прахе. Наконец он, отплевываясь, вынырнул, как привидение.

— Ты спровоцировала войну! — Василий слепил снежок и кинулся за хохочущей Любой. Ее зеленое пальто мелькало среди белых кустов. Вот она споткнулась и упала. Василий подал Любе руку, помог подняться.

— Давай стряхну. — Снял перчатку и стал обивать с ее пальто снег.

Внезапно со стороны Лебяжьего, со стороны недалней старицы налетел ветер, злой, шквальный. В одно мгновение лес окутался белым шелестящим пожаром. Но скоро ветер умчался дальше, оставив деревья и кусты голыми, будто и не были они несколько минут назад густо запорошенными снегом.

— Вот и все! — сказала Люба, с грустью глядя на оголенный лес.

— Ничего, — успокоил ее Василий, — будут еще снегопады, будут весны, деревья снова станут красивыми...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Больше всего тревожили ее ночные вызовы. И не потому, что не хотелось вылезать из-под теплого одеяла, идти в темноте по грязи ли, вьюге ли. Боялась «шуток»...

В эту ночь опять загудели промерзшие стекла от ударов кулаком. Даже за двойными рамами слышно было, как орал и сквернословил грубый мужской голос. На своей кровати зашевелилась Анфиса Лукинична, зашептала, крестясь: «Господи, и когда это светопреставление кончится?»

Люба опустила ноги на коврик. Сердце колотилось от испуга, словно взбежала по крутой лестнице.

— Не вставай, дочка, сама выйду. Опять какой-то пьяный фулюган, заразой его не убьет!

Рамы гудели под ударами, с шорохом сыпалась оконная обмазка, а хозяйка не торопилась: «Не сдохнешь, ирод, подождешь! Ишь, наакался и бесится». Наконец оделась и вышла.

Люба прислушивалась к звукам, поеживаясь от холода. Мужской голос что-то бубнил, хозяйка тихо отвечала. Потом раздались тяжелые бухающие шаги прочь от дома.

Возвратилась Анфиса Лукинична, обмела веником валенки.

— Буранит на дворе-то...

— Что там? Кто это?

— Спи, дочка. Ванька Бодров. Пьянящий — страсть. Подай ему доктора и все. И матюкается — не приведи господи! Вот уж ералашный мужик. Про мальчонку какого-то мелет, а сам на ногах не стоит. Спи, дочка. Сказала, что нет тебя, слышь, дома, в командировке ты...

— Зачем же, тетя Фиса? — вскинулась Люба. — Может, у него и правда что-нибудь случилось...

— Это у Ваньки-то Бодрова? Обиду старую вспомнил спьяну, вот и приплелся, пес ералашный. Ералашнее его во всем районе не отыщешь. Ох-хо, грехи тяжкие! — Анфиса Лукинична улеглась на кровати, с минуту повздыхала и уснула.

Не шел к Любе сон. Вполне возможно, что Бодров решил «поговорить» с доктором. А если правда что-то в семье случилось?

Встала. Оделась. Анфиса Лукинична приподняла голову, сонно посокрушалась: «Господи, и что это за работа, не дадут человеку и поспать ладом!..»

Возле Бодровых стояли громадные сани с невысоко наложенным сеном. Они были прицеплены к работающему на малых оборотах трактору. В избе ярко горел свет, мелькали тени. Прижимая руку к сердцу, запыхавшаяся Люба перешла на шаг: «Зря, наверно, поднялась! Видно, гости, гулянка...»

Вошла. В избе было тесно от народа. Пахло табаком, соляжкой и водкой. А на неразобранной кровати лежал ребенок месяцев семи-восьми. Рядом сидела жена

Бодрова и, уткнувшись в руки, беззвучно плакала, только крупно и часто вздрагивали ее ссутуленные плечи. Люди расступились, пропуская Любу.

— А-а, явилась! — заорал Бодров, вытаращив на нее красные глаза. — Дрыхла-а! А ребенок, а сынишка... готов!..

Незнакомые Любе мужчины в замасленных полушубках увели его в другую комнату. С печи выглядывали перепуганные детишки.

Ребенок был еще теплый, но мертвый. Личико его было синим, словно умер он от удушья. Люба приподняла мальчика, оголила ему спинку: на ней уже проступили синеватые пятна. Ребенок погиб не менее двух часов назад.

Обессиленно всхлипывая, ловя зубами прыгающие губы, Паша пыталась объяснить:

— Ехали на тракторе... Из Степного... Сначала он плакал... Деточка моя милая... А потом замолчал... Думала, уснул крошка... Укутала. Развернули, а он... он не дышит...

Бодров ворвался в горницу:

— Ежли б не дрыхла, пришла б сразу!.. За сына я тебе!..

И опять молчаливые суровые трактористы увели его.

Люба шла, спотыкаясь на снежных переносах. Не замечала, как все злее и злее завывает вьюга, рвет полы ее пальто... Всегда тяжело, когда из жизни уходит человек, когда ты, врач, отступаешь перед костлявой старухой с железной косой. Никому не доводится видеть

столько человеческих смертей, сколько врачу. И если он не привыкнет, не очерствеет, то каждую смерть переносит как личную трагедию. И особенно тяжело уходить из дома, где тебя ждали, где на тебя надеялись...

Что сейчас думают о ней там, у Бодровых? Она не пришла сразу. Не поверила, что и у пьяного Бодрова может случиться несчастье. Им легче было бы, если б она, врач, сразу же откликнулась на их беду. А она решала: идти или не идти? Прав Леснов: «Даже если тысячу раз убеждена, что человек давно мертв, все равно пытайся что-то делать, оказывай помощь. Это не ему нужно, а его близким...» Но что делать с трупиком ребенка, если поздно, поздно?! Люба ничего не стала делать, сказала только, что мальчик задохнулся часа полтора — два назад. Завтра она вызовет медэксперта — случай такой, когда для установления истины требуется третье лицо.

Но эксперт не приехал ни завтра, ни послезавтра — степь и дороги поглотила многодневная свирепая вьюга. Где-то между Лебяжьим и Степным ветром порвало телефонные провода. Поселок был отрезан от всего мира, теперь это действительно был глухой угол.

Несмотря на протесты Любы, Бодровы похоронили мальчика.

В один из вьюжных дней Владислав объявил о комсомольском собрании. Он дважды оповестил о нем по местному радио. Сообщил и повестку дня: «Твоя личная ответственность...»

Перед началом собрания за ней зашли Генка с Таней, оба решительные, неустрашимые. Люба опять

засомневалась: правильно ли, что именно они трое начнут разговор о Владиславе? Ведь многие могут понять это как сведение личных счетов.

— Чепуха! — сказал Генка. — Нас поддержат ребята.

Шли по бело-черной улице, держась за руки, ориентируясь на слабое пятно лампы над входом в клуб. Вьюга путалась в ногах, яростно толкала в грудь, стремясь опрокинуть навзничь. Мельчайший, как порошок, снег слепил глаза, набивался в рот, в нос, в рукава, за ворот.

В фойе кто играл в шахматы, кто листал журналы и газеты на длинном столе, кто делился новостями. У окна стояли Григорий с Диной. Дина что-то говорила Григорию, а он молчал, только плечами пожимал и оглядывался на вошедших. Увидав Любу, помахал рукой. Дина поцокала каблуками туфель (успела переобуться) в противоположный конец фойе, к большому зеркалу. Григорий подошел к Любе, взял у нее пальто.

— Дина первую полусцену устроила, — неловко усмехнулся он. — Из-за Владислава.

— Непочтительно отозвался о нем?

— Наоборот. Он же нам всю свадьбу украсил...

— Положим, тройки с бубенцами Фокей Нильч организовал.

— Но заводилой-то Славка был! Не понимаю я вас, женщин.

Люба засмеялась:

— А пора бы!

Было без пяти семь, когда во входных дверях показались заснеженные Острцов с поднятым воротником пальто и Чебаков в черном полушубке. Владислав никогда не опаздывал, как на школьный урок. И не любил, когда другие опаздывали.

— Давайте будем начинать, товарищи! — сказал он, проходя за кулисы. Был он сосредоточен и деловит.

Быстро расселись, и Владислав, став за столом на сцене, предложил избрать президиум. Сам же назвал имена: Григория и Таню. Словно знал об уговоре троих, разобщи́л девушку с Генкой и Любой. Потом прошел к трибуне, в руках у него не было никаких бумаг.

— Тут некоторые комсомольцы, — он сделал паузу и посмотрел сначала на Любу, а потом на Чебакова, сидевшего в первом ряду около Жукалина. — Некоторые комсомольцы просили провести это внеочередное собрание. Боясь быть обвиненным в зажиме демократии, — Владислав легонько усмехнулся, — я и решил не откладывать дела в долгий ящик. Только формулировку повестки дня несколько изменил. Люба Устименко предлагала так: «Разговор о чести и беспринципности». Ну и мою вы знаете: «Твоя личная ответственность». Слушая внимательно, вы заметите, что доклад, в сущности, не отходит ни от одной из формулировок...

Владислав начал с колхоза, с его чести и славы. С того, что комсомольцы должны повседневно, не страшась трудностей, бороться с очковтирательством, равнодушием и беспринципностью, которые тормозят развитие не только колхоза, но и всего общества. Слегка коснулся женитьбы Григория и Дины, они, мол,

оказались не на высоте, нарушив моральный кодекс советского человека. Григорий не удержался, буркнул:

— Под кем лед трещит, а под нами ломится!..

Пробежал смешок, оживив людей. Улыбнулся на трибуне и Владислав, тряхнув шевелюрой.

— Это верно, Гриша! — Владислав подержал кулак у рта, словно задумавшись на минуту, и выбросил пятерню к залу: — А теперь мне хотелось бы вот на чем остановиться: на личной ответственности каждого из нас за порученное нам дело. Труд — мерило нашей гражданской, комсомольской, если хотите, сознательности, чести, достоинства. Не все мы четко понимаем это. Вот если в газете появляется на нас критика, справедливая критика, или карикатура, тоже, в общем, справедливая, то это мы воспринимаем как оскорбление. Приведу пример. Свежий пример. На комсомольской конференции пожурили Любу Устименко. И что же?! Она опустила руки, ей немила стала так горячо любимая прежде работа. В результате — она не пришла вовремя на вызов. Ребенок товарища Бодрова погиб. Возможно, частично по вине Любы Устименко...

— Никто не ставит под сомнение, что он еще в дороге... Никто!

Владислав повернул голову к вскочившей за столом Тане. Согласно кивнул:

— Вполне солидарен с тобой, Таня! А вот отец ребенка считает иначе... К сожалению, эксперт не смог приехать. Тогда, возможно, мы не имели бы счастья видеть Любу на нашем собрании, была бы она... Тем не менее это не дает нам права замалчивать антигуманное

поведение человека, который даже по своей профессии должен быть самым отзывчивым, самым чутким. Сейчас у нас лишь косвенные улики за недоказуемостью, а завтра, если мы не пресечем зло в корне... Устименко открыто надругалась над своим высоким званием врача. Если вам не изменяет память, товарищи, началось это со дня приезда Устименко, когда она выписала Бодрову оскорбительный рецепт. Разве такое допустимо?

Да, Острецов не случайно торопился провести собрание. Пока в людях не забылась смерть ребенка, ее снова напомнили им, преподнесли в зловещем освещении... Вот почему торопился Острецов с собранием! Вот почему ездил в пургу за Чебаковым. Он умнее, тоньше оказался, чем она предполагала. И тут Любу вдруг озарило: да ведь Владислав не скажет нигде и никому, за что ему побил окна Лешка — Генкин товарищ, почему Азовсков не дал стекла. Если бы все сидящие в зале знали эти причины, то разве так бы он выглядел в их глазах сейчас, на высокой трибуне! Но они не знали, и поэтому Владислав предстал перед ними героем, жертвой, страдальцем за правду, за принципиальную критику. А народ любит героев! Герой же не ради личной корысти старается, а ради общего... И, конечно же, его поддержат. И будут до тех пор поддерживать, пока не разберутся, пока не увидят, кто он на самом деле...

Острецова сменила Поля. Наверно, в ней еще не перегорела детская влюбленность в учителя. Это можно было видеть по ее сияющим глазам, которых она не спускала с Владислава, севшего рядом с Чебаковым. И она повторяла, только не так складно, слова своего

бывшего учителя: антигуманность... преступное равнодушие... честь комсомольца...

Тараторила Поля, проглатывая окончания слов, тараторила и — совсем неожиданно: объявить Устименко строгий выговор с занесением в учетную карточку!

— Да ты что?! — вскочила Таня. — Очумела? Ты в своем уме?

— Если б у тебя умер братишка или кто-то близкий... Медик, а не понимаешь! — обиделась Поля.

— Председатель, веди собрание! — крикнули из зала.

Григорий неловко поднялся, постучал карандашом по графину:

— Тише! Ты сядь, Таня. Если хочешь выступить, я дам тебе слово.

— Конечно, хочу! — Таня резко отодвинула стул и побежала к трибуне. Она задыхалась от возмущения. — Здесь вот... здесь Острцов ну все-все вспомнил... память у него ну просто замечательная!.. Хорошо помнит чужое, а свое забывает. Вот пускай он сейчас выйдет опять сюда, — Таня требовательно постучала кулачком по трибуне, — выйдет и скажет, за что ему Лешка окна побил. Пускай скажет, почему Азовсков стекла не дал... Вот пускай честно в конце концов расскажет всем нам... И тогда вы увидите, какой он светлый и чистый! Других судит, а сам чернее сажи, грязнее грязи...

Владислав приподнялся за столом, с достоинством обратился к залу:

— Я попросил бы собрание оградить меня от оскорблений...

— Щекотки боишься? — отозвался Генка.

— Тише, товарищи! — снова постучал карандашом Григорий. — А ты, Татьяна, без этих, без излишеств. Продолжай!

— Продолжать в конце концов нечего! Пускай Острецов объяснится.

Она села на свое место. Владислав встал.

— Я мог бы ответить на ультиматум Тани в заключительном слове, коль она требует. О том, что покойный Алексей побил мне окна, я впервые слышу. Кстати, вы помните, как бессердечно отнеслась Устименко к спасению утонувшего Леша? Это вам еще один факт. С Лешей у меня были самые лучшие дружеские отношения, и я считаю, что на него клеветают. Мертвый ведь не может защищаться! Поэтому собрание обязано защитить его доброе имя.

Комсомольцы зашумели. Генка вскочил:

— Никогда Лешка не был твоим другом! И я был свидетелем, когда он бил стекла.

— Он или ты? Вспомни, Гена. Так сказать, горячая месть за обиженного критикой отчима. Вспомни!

Генка слышал недобрый шум в зале и понимал, что сказал лишнее и Владислав «срезал» его.

— Я отговаривал Лешку. Но ты ж ему сказал, что для него дорога в комсомол закрыта. Он очень обиделся.

Владислав рассмеялся:

— Все это, Гена, частушки-нескладушки. Эх, если б знал Алексей, как его здесь защищают! — Повернулся к Григорию: — Веди собрание, председатель, а то у нас не собрание получается, а какая-то художественная самодеятельность...

Инициатива была в его руках.

Люба не стала оправдываться. Она лишь сказала, не поднимаясь на сцену: «Все эти сочинения товарища Острецова — чушь! Со временем сами увидите». И села. Она уже знала, что на этом собрании нет смысла идти против Острецова. Смерть есть смерть, а она всегда волнует и печалит людей. Рядом с ней Любины «разоблачения» показались бы людям просто ничтожными. Да и Таня с Генкой выступили не лучшим образом, восстановили кое-кого против себя...

Двадцать шесть проголосовали за строгий выговор с занесением, девять против, один — воздержался. Воздержался Григорий. Владислав посмотрел на него с недоумением, огорченно качнул головой.

Чебаков взбежал по ступеням на сцену, но не стал за трибуну, шагнул к низкому барьерчику рампы. Руки его были заложены за спину. Он качнулся с носков на пятки, будто пробовал прочность полов авансцены. И Люба поняла, что Василий доволен ходом собрания.

— Мне понравилось ваше собрание, лебязинцы, — негромко сказал он после минутного молчания. — Оно получилось деловым, нелицеприятным. Настоящим комсомольским. Чувствуется, что вы болеете за свой колхоз. За свою трудовую славу. За свое комсомольское имя. И можно искренне надеяться, что это собрание послужит суровым уроком не только Любе Устименко, а

каждому, кто забывает о своей личной ответственности за все, что делается вокруг нас...

Он впервые остановил свой взгляд на Любе. И опешил: Люба, улыбаясь, смотрела ему прямо в глаза. Чебаков озадаченно скользнул взглядом на ее соседа Генку Раннева. У того глаза угрюмые, недобрые. В эти глаза — что в черное дуло наведенного револьвера смотреть. Однако на других лицах — внимание, одобрение, солидарность!

Не все аплодировали Василию. Секретарь партбюро Жукалин не расцепил рук, скрещенных на колене. Может быть, он дремал? Был Жукалин стар, уже года три-четыре на пенсии, ко всему привык, ничто его, вероятно, не волновало.

— Будете выступать? — спросил Чебаков, садясь рядом. — Вы слушали меня?

Жукалин выпятил мягкие губы, пожевал ими, посопел.

— Выступление было на уровне... Правда, огонька, ярости маловато для такого случая. Вот мы, бывало, в тридцатых годах, когда колхозы организовывали...

Снова вскочила Таня.

— Павел Васильевич! — переламяваясь через стол, подалась она к Жукалину. — Что же вы-то молчите?! Неужели согласны со всем, а?! Скажите, ну!..

Жукалин неохотно поднялся с места и, помедлив, узловатый палец направил на красное полотнище лозунга, прибитое над сценой:

— Тебе, Таня, не видно оттуда, а мы все читаем: «Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым!» Кому, Таня, возводить? Владимир Маяковский сказал: моло-дым!

Засмеялись в зале, захлопали в ладоши. Но Жукалин не улыбнулся.

— Я без шуток, юноши. Вам головы даны не для того только, чтобы речи сочинять, а и, ну, думать, что ли... Мнится мне, будто не всегда вы думаете. Мнится, зря так доктора нашего обидели... Доклад у Владислава огневой получился, толковый. Но — с перегибами. Коли медэкспертом не установлена достоверная причина гибели ребенка, не надо загодя обвинять врача. Коли утонул Алексей, не надо терзать за него доктора, не виноват доктор. Это у нас в тридцатых годах левацкими перегибами называлось... Мы тебя, Острцов, везде и всегда поддержим, так и знай. Однако же ты не злоупотребляй этим, не обижай напрасно людей. Человек — тонкий инструмент...

Владислав легонько кивал, смотря себе под ноги. Он соглашался. А в душе посмеивался над поучениями Жукалина. И Жукалин, опускаясь в кресло, угадал это. Скрещивая на колене костлявые руки, недовольно жевал губами и посапывал. Потом повернул голову к Владиславу:

— Я тебя пока поддерживаю. Пока. Понял? А ты мотай на ус.

... В фойе, уже одевшись, Чебаков подошел к Любе:

— Чему ты смеялась, когда я выступал?

— Разве? Ах, да-да, верно! Мне вспомнился зимний лес. Деревья стояли в белом, сказочном наряде. А потом налетел ветер — и вся красота пропала. А ты говорил: «Будут снегопады, будут весны, деревья снова станут красивыми...»

— Что же здесь смешного?

— Не знаю. Когда ты выступал, я думала: красив ли Чебаков? Прости, меня ждут...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В райцентр Люба приехала поздно вечером. Знакомая дежурная в небольшой уютной гостинице отвела Любу в двухместный номер.

— Выбирайте любую койку, — сказала она с мягким южным акцентом. — Зимой у нас не заездно. — И по привычке, заученно взбив подушки в изголовье, спросила: — А что это вы, девушка, так с лица изменились? Очень вы неважно выглядите, прямо не узнать.

Люба пожала плечами, подошла к окну.

Две предшественницы убежали из Лебяжьего. Теперь, очевидно, ее очередь. Разговаривая по телефону, Леснов был необычно резок: «Не следовало вам, Устименко, противопоставлять себя лучшим людям колхоза! Ваше дело лечить больных, а не копать в мозгах здоровых людей! Завтра же выезжайте сюда!»

Люба долго не могла уснуть, размышляя о предстоящей встрече с Лесновым. Ведь даже после карикатуры в газете он не упрекнул и не осудил ее, а тут вдруг сорвался. Кто его настроил? Острцов или

Чебаков? А может быть, оба? С Острецова взятки гладки, но Чебаков... Слеп он или не хочет портить отношений с Острцовым? И что хочет сказать ей главврач?..

Утром в коридоре она столкнулась с огромным парнем в майке, с полотенцем и мыльницей в руке. Он галантно уступил Любе дорогу и широко улыбнулся:

— Это вам мы не давали спать своим ржанием? Просим прощения!

— Ничего, обойдется! — сказала она.

На улице Любу ослепили солнце и летучий звездистый иней. Крепчайший мороз перехватил ей дыхание. Она прикрыла рот и нос варежкой и побежала к больнице. Под валенками взвизгивал снег.

В больнице ей сказали, что Леснов занят операцией, придется подождать. Люба вышла с больничного двора, но не знала, куда податься. Напротив было двухэтажное здание райкома партии и райкома комсомола. Зайти к Чебакову? Снова промелькнула в памяти вся их прогулка в лесу. Грациозные лоси, объедающие осиновые ветки. Красногрудые снегири, огоньками скачущие в белых кустах терновника. И жаркие монологи Василия. О красоте земной, о прелести бытия человеческого...

Нет, не хотелось заходить к Чебакову. Если б она знала его только по той прогулке! Это ужасно, когда человек не на своем месте.

Она побрела вдоль центральной улицы, машинально свернула в узкий проулок и очутилась на обрывистом речном яру. Слева от нее круто спускалась на лед

сверкающая под солнцем дорога. Внизу молодая женщина черпала из голубой проруби воду. Подцепив ведра коромыслом, направилась к взвозу. В каждом ведре покачивалось по солнцу. Женщина будто боялась расплескать это солнечное чудо: шагала мягко, бережно. Она чему-то улыбалась, глядя прямо перед собой. Из соседнего двора вышла к обрыву старуха с тазом и вывалила под яр золу. Серое облако, подхваченное ветерком, обдало Любу, запорошило глаза, опустилось вниз и окутало женщину с ведрами. Улыбку смахнуло с лица женщины, она негодуяще взглянула наверх. Бабки на яру уже не было. Почти до самого речного льда, словно глумясь над женщиной, свешивался серый язык золы. Женщина вылила воду на обочину дороги и вернулась к голубой проруби. С наполненными ведрами поднималась торопливо, плескала себе на валенки и не замечала этого.

Любе жалко было женщину с ее недавней радостью, улыбкой.

Ей вспомнились и Острцов, и Чебаков. Вспомнился вчерашний телефонный разговор с главврачом. Ну почему Леснов, не разобравшись толком, нагрубил ей? Странно было такое слышать от Леснова. Если продолжать его рассуждения, то выходило: зачем было кончать десятилетку, учиться в институте? Зачем было читать о Павле Корчагине и плакать над книгой о молодогвардейцах? Зачем?! Чтобы вот сейчас прийти к выводу, что несправедливость и зло необоримы? Чтобы потерять веру в могущество добра и правды? Значит, в книгах и кино — это одно, а рядом, в реальной жизни, другое? Если не так, то почему прав только Острцов? Почему только ему такая безоговорочная вера? Почему

ее, Любу, мало кто поддерживает? Или чтобы поддержать, надо бороться? А бороться с Острцовым трудно! Это — как вот по этому крутому взвозу с полными ведрами подниматься. Попробуй на тяжелом подъеме не расплескать всего самого ценного, зачерпнутого тобой из большой реки, называемой Жизнью...

Любина бабушка часто повторяла: «Для счастья много не надо...» Действительно, не так уж много нужно! Но как это немногое трудно дается. Ведь оно равно почти нулю, если ты только сам такой, а другие — прямая противоположность тебе и твоим идеалам. Отец в письмах спрашивает: «Как ты там, доню моя? Тяжко тебе? Так ты ж держись, моя ридная!..» И она пишет: «Держусь, папа, держусь!..»

И вот хоть бросай все и беги. Чтобы быть третьей, бежавшей из Лебяжьего. Отец, наверно, поймет ее слабость. И бабушка поймет. Поймет и главврач Леснов. А вот поймут ли Азовсков, Таня, Генка, Дина, Григорий? Спасовала, скажут, испугалась!..

Женщина с коромыслом поднялась на крутоярье и шла мимо Любы. Она тяжело переводила дыхание, свежее молодое лицо было хмурым. Сама не зная почему, Люба вдруг шагнула к ней:

— Вы далеко живете? Давайте я помогу вам. Давно на коромысле не носила...

Женщина враждебно оглядела ее с головы до ног модная шапка, модное пальто, с узким пушистым воротником, белые фетровые валенки. Но глаза такие ясные и просящие. Женщина улыбнулась и, пригнувшись, поставила ведра на снег.

— Если уж вам так хочется. Мы ведь, деревенские, до гроба с коромыслом обвенчаны.

Они не разговаривали, когда шли, но им было приятно шагать рядом и думать друг о друге хорошее.

Возле калитки Люба передала ношу хозяйке, но от приглашения зайти на чашку чая отказалась. И та, словно извиняясь, пояснила:

— Мы для чая уральную воду берем. И для головы. Речная вода хорошо волосы промывает.

Стало у Любы легко на душе. Разговор с Лесновым не представлялся теперь таким тяжелым, каким казался час назад. Шла к больнице быстрым решительным шагом, с удовольствием ощущая в плечах легкую ломоту. А когда-то она ненавидела эту «бабью дугу», как называла коромысло ее мать. В новом целинном совхозе мать в первый же год захотела вырастить свои овощи. Сотни ведер воды перетаскали они из пруда, чтобы исполнилась материна прихоть...

В приемном покое дежурная сестра замахала руками:

— Скорее, скорее! Он вас по телефону везде разыскивал!..

Леснов хмуро взглянул на оживленную Любу и показал ей на диван. Сам сел напротив, за столом.

— Ну! — нетерпеливо шевельнул бровями. — Рассказывайте!

— Я вам уже все рассказала. По телефону.

Леснов поднялся. Открыл стеклянные дверцы шкафа и, стоя к Любе спиной, заговорил глуховато, неуверенно:

— Мы тут посоветовались, Любовь Николаевна, и решили взять вас в районную больницу. На стажировку, так сказать, на специализацию. Для вас это лучший выход из положения. И для нас тоже. В Лебяжье направим кого-нибудь другого. Мужчину.

— Хотите взять под свою высококвалифицированную опеку?

— Мы хотим... как лучше, — уже несколько жестче сказал Леснов, копаясь в шкафу. — В Лебяжьем ты со своим характером все равно не поладишь.

— Смотря с кем! С Острцовым — да. С Жукалиным — да. И с Чебаковым — тоже да. Пожалуй, и с вами, товарищ Леснов, не полажу. За честь мундира боитесь, что ли, Леонид Евстифиевич?

Он резко обернулся, секунду-две глядел в ее лицо: «Ну и характерец!» И рассмеялся, кулаком потирая свой разломленный надвое подбородок. Люба тоже улыбнулась. Леснов опустился рядом с ней на диван.

— Рассказывайте все-все, что там у вас было! Подробно.

Они просидели в кабинете больше часа. Заходили работники — Леснов обменивался с ними короткими репликами — и уходили.

Наконец он решительно хлопнул ладонями по коленям и встал. Прошелся несколько раз по кабинету, нагнув большую голову.

— Знаешь что? Я приглашу следователя, и мы поедем с ним в Лебяжье. Проверим все. И во всеуслышание заявим, что врач Устименко, товарищи лебятинцы, перед вами чиста!

Люба недовольно поморщилась:

— Вы меня не совсем правильно поняли, Леонид Евстифиевич. За себя я и сама постою. Досада берет, что люди портятся под влиянием Острецова. Не случайно же большинство проголосовало за вынесение мне строгого выговора.

— Значит, ты не сумела отстоять свою правоту.

После небольшой паузы Люба согласилась:

— Н-наверное. Все трое не сумели. Острецов оказался умнее и злее, чем мы полагали. Не сомневаюсь, что в одном из номеров районной газеты появится его статья, он распишет нас...

— А давай-ка сходим к редактору газеты, а?

— И я должна буду все сначала рассказывать?

— Я сам... в двух словах.

Люба покачала головой:

— Не пойду. Не люблю жаловаться. — Она открыла сумочку, мельком глянула в маленькое зеркальце и протянула стоявшему Леснову исписанный лист бумаги: — Заявка на медикаменты. Посмотрите, пожалуйста, дайте визу на получение...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

На улице была оттепель, а в плохо натопленном кабинете Жукалина застывали чернила. Секретарь партбюро сидел за столом в пальто и шапке, часто потирал длинный зябнувший нос и дышал на руки. С другой стороны стола сидела заведующая орготделом райкома партии Михеева, тоже в пальто и мужском

цигейковом треухе. Не глядя на нее, Жукалин подавал ей папки. Она листала их стремительно, с треском, так что на Жукалина веяло ветром. Серые прищуренные глаза успевали схватывать все, что нужно.

— Болел, говоришь, Павел Васильевич, лежал, а порядок образцовый, порядок, говорю, отличный...

Говорила Михеева хриплым простуженным голосом. Было ей под пятьдесят, но выглядела она очень молодо, мужчины до сих пор заглядывались на ее красивое смуглое лицо. Может быть, поэтому Михеева держалась с ними несколько грубовато и снисходительно. В «номенклатуру» она попала лет тридцать назад, после окончания педучилища, да так и задержалась в ней.

— За одно сужу, Павел Васильевич, решение бюро райкома до сих пор не обсудили на партсобрании. О наказании Азовскова. За это, говорю, сужу.

— Успеется.

— А если об этом сам товарищ Черевичный узнает? А если кто-то из обкома глянет в твои бумаги?

— Я не дам бумаги, я срочно заболею...

Михеева расхохоталась, обнажая белые крепкие зубы:

— Не зря говорят: лукавый горами качает!

— Какое уж там лукавство. Нужда заставляет.. Азовскова вы зря так сурово наказали, оттого и собрание мне не хочется проводить.

— Зря, говоришь? — Михеева прищурила свои красивые серые глаза. — Но посуди сам! Труженики идут на воскресник и средства от него предлагают в фонд борьбы с колониализмом. А уважаемый товарищ

Азовсков громогласно возражает, срывает политическое мероприятие.

— Предлагали не труженики, а ваш Острцов.

— Почему наш? — насторожилась Михеева, уловив язвительность в его тоне.

— Вам он нравится, вы его на руках носите.

— А вы?

— И мы. Глядя на вас, и мы. А как же! Смелый. Прямой. Почти честный.

Михеева встала, запахнула пальто, зябко пожала плечами. Заправляя под шапку выбившуюся прядь волос, сдержанно спросила:

— У тебя, Павел Васильевич, не осложнение после гриппа? Не узнаю тебя. Не узнаю, говорю... А собрание ты проводи без промедления. Что я товарищу Черевичному скажу, если спросит?

— Скажи, что Жукалин по сей день хворает. Я ж не тот, что в двадцатых да тридцатых годах был!

— Наверно, не тот.

Постучавшись, в кабинет тихо вошла Анфиса Лукинична. Поклонилась обоим. Жукалин засунул папку в стол, попытался пошутить:

— Везет мне сегодня на симпатичных женщин. Жаль только, стар я.

Михеева усмехнулась, ответила с обычной грубоватостью:

— Тебя ж не варить, Павел Васильевич!

Она ушла. Жукалин усадил Анфису Лукиничну, улыбнулся:

— С чем пожаловала, неисправимая знахарка и колдунья?

— И ты туда же! — огорченно промолвила женщина.

— Да я шутя, Лукинична, извини, пожалуйста. Говори, с чем пришла?

— Люба-то уехала.

— Совсем?

— А я почему знаю? Может, и совсем. Вы кого не съедите! А уж на нее-то я надеялась... Третья убегла. А партийный начальник и за ухом не почесал, ты то есть. А еще под портретом Ленина Владимира Ильича сидишь! Шапку-то хоть бы снял, старый!..

Сконфуженный Жукалин стащил с головы шапку.

— Собачий холод тут. И чего ты напустилась на меня, Анфиса?!

— А на кого ж мне напускаться? Ты главный по партийной линии, к тебе и пришла. Аль к Острецову вашему итить?! Он, шалопут, изголяется над людьми, а вы его по головке гладите вместо того, чтоб задницу ремнем выдрать.

Жукалин понял, что поведение Острецова проняло даже тихую безответную Анфису Беспалую. Сроду она ни на кого не жаловалась.

— Насчет ремешка, Лукинична, в наше с тобой время просто было, а ноне воспитывать надо иначе. Острецов — молодой человек, и мы обязаны терпеливо

наставлять его, чтобы он сам осознал ошибки свои. Ноне нельзя через колено ломать...

— Ой и болтун же ты, Василич! — укоризненно покачала головой Анфиса Лукинична поднимаясь. — Скажи, что не хочешь связываться с этим балаболкой, да и все. А ить боевитый когда-то был! Об себе только думаешь, а об людях вовсе забыл.

— Но-но, Лукинична, не вдруг на гору — гужи лопнут!

— А и не обижайся, верно сказываю. Говорить-то мне с тобой более не об чем. Прощай покудова!

Она поклонилась ему с притворным смирением и посеменила к двери, прикрыла ее за собой осторожно, плотно. Засунув озябшие руки в карманы пальто, Жукалин стоял у окна и глазами провожал женщину в темном платке до самого ее дома. В школе, наискосок от правления, прозвенел звонок; и через минуту в разные стороны рассыпалась вырвавшаяся на волю малышня. И сразу вспыхнул жаркий бой: туда и сюда полетели тугие снежки. Ребячий восторженный гомон слышен был даже через двойные окна. Веселый, улыбающийся вышел из школы Владислав Острцов. Бросив тяжелый кожаный портфель в сторону, он с азартом ввязался в сражение: запустил несколько снежков в мальчишек, получил ответные — один снежок сшиб с его головы шапку, другой белым расплющился на груди. Острцов подхватил портфель и со смехом кинулся бежать. А мальчишкам того и надо! Взликовали, ринулись за ним. Он, перебежав площадь, спасся в правлении колхоза.

К Жукалину вошел возбужденный, радостный.

— Чуть не стал жертвой собственных учеников!

Жукалин знал причину прихода. Острецову нужна была его рекомендация для оформления в члены партии. Несколько дней назад Жукалин не придавал бы этому особого значения, сел бы и написал обещанную рекомендацию. Но вот теперь он не мог заставить себя изложить на бумаге то, что необходимо. Он не считал Владислава настолько плохим, чтобы отказать ему в рекомендации, но и не решался дать ее. Внутренний неясный голос шептал ему: не торопись, старина, не торопись, успеется! Если Жукалин еще и поддерживал в чем-то Острецова, то делал это из чувства некоторой досады. Досадно было, что зеленая девчонка вперед раскусила, вперед поднялась против учителя, чем он, Жукалин. Она открытый бой предложила, а он, Жукалин, отговаривал ее. Противоречивые чувства, владевшие им, заставляли его со дня на день откладывать и закрытое партсобрание, на котором предлагалось обсудить решение бюро райкома по Азовскому. Только не мог он сказать этого Михеевой.

— Написали, Павел Васильевич? — Острецов расстегнул пальто, ему было жарко.

— Понимаешь, целый день народ. Я уж вечером, дома, чтоб никто не мешал. Не торопись, собрание ж не завтра!

— Да оно как-то на душе спокойнее, Павел Васильевич, когда рекомендация не в чернильнице, а в кармане. Впрочем, как вам удобнее, так и делайте... Хотите, я вам свою статью прочитаю? — Острецов сел и открыл портфель. — Для районной газеты подготовил.

У Жукалина заныло под ложечкой.

— О чем же?

— О комсомолии. Помните то наше собрание с повесткой дня: «Твоя личная ответственность»? Помните, каким оно жарким было?

— М-да-а... — Жукалин растерялся. — А Люба уехала. Мнится мне, совсем уехала. Хозяйка только что приходила.

Острецов засунул назад статью, посмотрел в одну точку на полу и машинально защелкал замком портфеля. Видать, его эта новость смутила. Наконец он застегнул портфель и встал.

— Учили человека в институте... Доверили ему здоровье и жизнь сотен людей. А он!.. Собственно, от Устименко этого шага следовало ожидать. Ни профессии своей она не любила, ни людей, окружавших ее. Все были плохи, только она хорошая.

— Жаль девчонку, — сказал, кашляя, Жукалин.

Острецов вскинул голову:

— Таких неврастеничек презирать надо! Статью я все-таки пошлю. С дополнениями.

Ссутулившись, Жукалин по-прежнему стоял перед окном и почему-то очень уж пристально, с ухмылкой смотрел на улицу. Острецов шагнул к окну, кинул взгляд поверх жукалинского плеча и оторопел: из кабины «газона» Гриши Карнаухова вылезала Люба Устименко...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Быстрая проворная поземка вползала во дворы, приостанавливалась возле углов, путалась в ногах. Ее шелест напоминал шипение наждачного камня, казалось, она точила блестящие гребни голубоватых

сугробов. А вверху разгоралось холодное, но уже мягкое солнце последних дней февраля. В затишьях оно подъедало снег, а карнизы изб украшало частоколом сосуллек. Хотя и сердито шуршала поземка, но весна была за плечами: вот-вот рухнут в ярах серо-белые снежные ковриги и забулбят мутные стремительные потоки, пропотеют, закурятся паром плешины бугров, и на них проклюнутся изумрудные стебельки трав.

Предвесенняя пора, когда природа стоит на разломе, всегда нравилась Владиславу. А сегодня он видел лишь поземку, которая точила острия сугробов. В ее шипении чудилось ему, что это кто-то против него ножи точит.

Владислав интересовался судьбой своей статьи, ее он все-таки послал в редакцию. Она так и называлась: «Твоя личная ответственность». Спросил, когда будет напечатана. Редактор говорил неопределенное: то, мол, места в газете не было, то, дескать, отдельные положения статьи вызывают сомнение. Владислав попросил уточнить, какие именно положения смущают редактора. В телефонной трубке слышно было: редактор листал статью, вздыхал и говорил-тянул, точно жевал: «Вот вы... вы вот здесь пишете о том, что некоторые комсомольцы... что они не строят светлое будущее. Понимаете, получается, что светлое только впереди. Выходит, будто нынешнее — темнота и серость... Вы... э... не волнуйтесь, мы еще посоветуемся и, возможно, напечатаем».

Около дома Степняковых стоял председательский «газик». Видно, давно стоял, возле новеньких рубчатых скатов поземка намела сугробики. Радиатор у машины подтекал, и между передними колесами намерзла мутная сосулька. Владислав завернул в степняковский

двор, мимоходом сощелкал на карнизе мокрые морковины сосулк: «Раз, два, пять, десять... Если двадцать одно — очко, я буду в выигрыше... Нет! Двадцать две — перебор. Жаль! — Входя в сенцы, пригнулся под невысокой притолокой. — По своему росту ставил хозяин двери!»

Андрей Андреевич натягивал поперек детской кровати шнур с разноцветными пластмассовыми кольцами, рыбками, попугайчиками. Владислав не сдержал улыбки: ребенку от роду три недели, а отец считает его вполне смышленным человеком!

— Ты по делу? Или так, мимоходом? — Андрей Андреевич не приглашал ни проходить, ни садиться. Указательным пальцем отводил с брови напозающую челку, приглаживал вихор на макушке, поглядывал на развешанные над кроватью игрушки.

— Я к вам с просьбой, Андрей Андреевич...

— Ага. Ну коль дело, садись. Садись, Владислав Петрович.

Владислав сел.

— Кандидатский стаж у меня истекает... Рекомендацию мне...

Степняков долго молчал, поглаживая непокорный хохолок.

— Значит, рекомендацию, Владислав Петрович? Рекомендацию, говоришь?

Опять замолчал. И потом вдруг:

— Рекомендацию я тебе не дам, Владислав Петрович, не дам. — И снова поправил челку.

Владиславу показалось, что он ослышался: больно уж буднично, словно бы между прочим, походя, сказал это Андрей Андреевич.

— Как... не дадите?! В кандидаты вы же... рекомендовали...

— В кандидаты рекомендовал, а в партию... В партию не могу, Владислав Петрович...

— Но... почему?!

— Вот «распочемукался». Значит, не считаю целесообразным. Значит, стало быть, не созрел ты в моих глазах для партии...

— Вы это... серьезно, Андрей Андреевич?

— Партией не шутят, Славик.

Впервые он назвал его Славиком.

Однажды еще мальчишкой Владислав видел, как в уральной пойме обкладывали охотники волка. Чащобу терновника и вязовника обнесли шпагатом с красными флажками, сами разошлись по номерам и затихли, а человек десять односельчан с шумом и гамом погнались из зарослей зверя. И он выскочил на белую поляну, осыпанный снегом, словно серебром, бросался из стороны в сторону, но всюду натыкался на флажки, а из-за кустов вдруг начали бить выстрелы. Раз, другой свистнула над впаянными в затылок ушами свинцовая картечь. Потом ударила под левую лопатку, опрокинула в снег.

Таким вот зафлаженным увидел вдруг себя Владислав Острецов, одиноким, чужим.

— Значит, окончательно решили, Андрей Андреевич?

Степняков продолжал налаживать на табуретке керосинку: подстриг фитили, долил в бачок керосину. Чиркнул спичкой.

— Я слышу твой угрожающий тон, Слава, но это нисколько меня не пугает. Он никогда меня не пугал, всегда думалось: чем бы дитя ни тешилось, абы не плакало... Теперь вижу, что дитя давно подросло и озорует по-взрослому.

— Вы хотели бы, чтоб я перед вами смычком изгибался?

— Я хотел, чтобы Острцов не только статьи писал и речи говорил. — Андрей Андреевич встал с корточек, помыл руки под умывальником и поставил на керосинку сковороду. Во всех его движениях Владислав угадывал уравновешенность и неуступчивость человека, знающего и оценивающего свою силу и свои поступки. И голос Владислава дрогнул:

— Но... ведь так нельзя же, Андрей Андреевич!

Степняков задержал над сковородой рыбу, из-за плеча холодно посмотрел на гостя. Никогда Владислав не видал у него такого взгляда.

— Нельзя?! А обливать грязью людей... можно?! А доводить их до инфаркта... можно?!

Он положил обваленный в муке кусок сазана на раскалившуюся сковородку. Сенцы сразу наполнились трескучим шкворчанием, запахом топленого масла и поджаренной рыбы.

Владислав ушел, не попрощавшись.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Дома Нина собиралась на уроки во второй смене. Она торопливо засовывала в сумку книги, тетради, кулек с конфетами.

— Славик, через полчаса закроешь задвижку в трубе... Лучше через час, а то угарно будет. Не забудь за Сергеем в ясли сходить. Ну, я пошла!

У порога остановилась в нерешительности, чуточку обиженная. Раньше, когда она вот так произносила: «Ну, я пошла!» — Владислав лукаво смотрел на нее и приглушенно говорил: «Нина, иди сюда... Соскучился...» Она бросала сумку, подбегала и повисала на его шее, болтая ногами в воздухе. А он шептал, шептал ей в ухо, что любит только ее, одну ее... Потом она дурашливо ворошила его волосы: «Милый ты мой вечный секретарь!» Владислав всегда избирался секретарем: в школе, в институте, здесь вот...

— Славик, что-нибудь случилось? — дрогнувшим голосом спросила Нина.

Он шелестел на диване свежими газетами, прятал от нее лицо.

— Ничего не случилось.

— Ты неправду говоришь, Слава. Я же вижу.

— Ничего ты не видишь! — Владислав пружинисто встал, заправил в брюки выбившуюся рубашку и причесал волосы. Он боролся с внезапно вспыхнувшим раздражением и поэтому повернулся к жене спиной.

Стукнула о половицы оброненная Ниной сумка. Нина подошла к Владиславу, заглянула в его угрюмые глаза и вдруг расплакалась навзрыд.

— Чужие мы, Слава, чужие! — говорила она, прижимаясь мокрым лицом к плечу мужа. — Придешь в учительскую, все... все лицемерят... все притворно-вежливы... Но я же не дура, я же вижу, что притворяются! Они презируют нас, мы чужие им... А за что, за что, за что?!

Владислав усадил ее на диван, принялся успокаивать: все это кажется ей, она очень мнительна, а если есть что-то, так это от обычной человеческой зависти. Люди очень завистливы к чужому благополучию, говорил он. И чувствовал, что слова звучат фальшиво, Нина перестала плакать, чтобы не расстраивать его. Владислав неожиданно вспомнил свою недавнюю встречу с Карнауховым. Григорий шел ему навстречу и насвистывал. Владислав протянул руку:

— Привет, друг мой дорогой! Давненько не видел тебя.

Григорий отвел глаза, а руки поглубже засунул в карманы полушубка. Пошагал дальше, не торопясь, вразвалочку. Изумленный Владислав догнал его, схватил за плечо:

— Какая тебя муха укусила? А еще другом зовешься!

Григорий замедлил шаг, смерил Владислава взглядом:

— Хорошо, когда собака друг, плохо, когда друг — собака..

И, посвистывая, пошел быстрее. Взбешенный Владислав сжал кулаки, прошептал вслед: «Я тебе никогда не прощу этого!»

После этой стычки Владислав стал замечать, что некоторые односельчане старались избегать встреч с

ним даже на другую сторону улицы переходили. Другие, наоборот, бесстыдно смотрели в глаза, но не здоровались будто сроду не знали учителя Острцова. И в учительской, как только он входил, все замолкали, словно за минуту до этого здесь готовился заговор против него. Заговора не могло быть, он это знал, тут сидела Нина. Правда, она смотрела на мужа и улыбалась как-то неестественно, униженно. Нина пыталась хоть немного смягчить впечатление, которое производила на него замкнутость коллег. Однако Нина была плохой притворщицей.

«Да, меня зафлаживают, — с тоской думал Владислав. — Они сжимают кольцо. Нина не вынесла. А надолго ли меня хватит? Где, когда я допустил оплошность? Так отлично все шло! И Нина утверждала, что она, пожалуй, самая счастливая женщина в Лебяжьем, потому что ее муж — кумир лебяжинской молодежи... Где же оплошность допущена? Азовсков? Лешка? Устименко? Кажется, каждый шаг выверял... Мог ли я предполагать, как это ранит, когда от тебя отворачиваются, когда с тобой не здороваются! Бедная Нинушка, ей-то каково!»

Нина сидела рядом, маленькая, сжавшаяся, уткнув лицо в руки. Он обнял ее, прижал к себе:

— Успокойся, Нинок, все будет превосходно. Разве ты не знаешь меня?

— Не могу, не могу я больше так! — заговорила она прерывисто, поднимая голову и платком вытирая покрасневшие глаза. — Может, нам лучше уехать отсюда?

— Мы уедем, другие уедут, а кто же будет бороться, Нинок?

— Но я устала, Славик, устала!

— Нельзя уезжать, Нина, — тихо сказал он. — Мы должны показывать пример, мы обязаны каленым железом выжигать все черное, поганое, не наше... Иначе нас не поймут настоящие люди. Вспомни строки, которые мы часто повторяли в институте:

Лишь тот достоин чести и свободы,
Кто каждый час за них идет на бой!

Нина подошла к трюмо в простенке, поправила прическу, припудрила щеки. Берясь за дверную скобу, вздохнула:

— Тебе лучше знать, Слава, как поступать. Но мне тяжело в школу ходить, я уж и в учительскую почти не заглядываю. Не забудь трубу прикрыть.

Владислав остался один. Он неподвижно сидел на диване и смотрел на дверь так, словно возле нее продолжала стоять Нина. Нина, жена... Она всегда во всем безоговорочно верила ему, всегда считала образцом современного человека. Нина была замечательная жена! И единственным недостатком ее, полагал Владислав, было, быть может, то, что она очень его любила. Хотя бы ради того, чтобы не упасть в ее глазах, стоило бороться с Азовсковым, с Устименко, с Жукалиным... Да, и с Жукалиным! Старик изменился в последнее время. Под всякими предлогами рекомендацию так и не пишет. Но и не отказывает. А тихоня Степняков, родной дядя жены, отказал: «Не созрел ты в моих глазах для партии...»

— Подле-цы! — Владислав вскочил, заметался по комнате. — Подлецы!

Что подумает секретарь райкома, если узнает, что ему, Острцову, не дают рекомендации?! А ведь Черевичный недвусмысленно прочил его вместо Жукалина. Может быть, Жукалин прослышал об этом? И это стало причиной его недружелюбия? Но Жукалин давно просится, чтобы его освободили от секретарства. Нет, тут другое!

Однажды Устименко спросила: «Ты никогда не ставил себя на место тех, кого критикуешь? Мысленно, разумеется». Он отрезал: «В этом нет необходимости!» «А ты все-таки попробуй, — с хитрым смирением посоветовала она. — Попробуй!» Мчались мысли: «Попробуйте вы, вы, вы представить себя в моей шкуре! Попробуйте! Вас много, а я — один. Я один боролся с вашей отсталостью, с вашим деревенским идиотизмом, я для вас старался, для вас, для вас! А вы!...»

Неожиданно Владислав вздрогнул. Ему почудился за спиной знакомый иронический голос: «Полноте вам, Острцов, лицемерить! Для кого вы старались?! Вы для себя старались». Владислав боязливо оглянулся.

— Тьфу, чертовщина какая! Совсем нервы расшалились.

Он обнажился до пояса. В задней комнате, черпая кружкой из ведра, облился ледяной водой, вероятно, только что принесенной Ниной из колодца — в ней еще ледышки плавали. Яростно растер тело мохнатым полотенцем. Снова почувствовал себя сильным и свежим. Кинул полотенце на гвоздь: «Мы еще повоюем!...»

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

— Грачи прилетели! — закричал Чебаков и бросился к окну.

Из райкома хорошо был виден противоположный берег Урала. Над голыми ветвями старых тополей хлопотливо мельтешили черные птицы.

— Значит, настоящая весна пришла, — радостно сказал Чебаков и оглянулся на Острецова, сидевшего возле маленького приставного столика. Заметил на его лице улыбку, которую Острецов не успел спрятать. — Хотел пригласить тебя на берег. Послушать, как грачи горланят...

— В чем же дело? Идем! — с готовностью поднялся Острецов. — Я тоже обожаю грачей...

Они вышли из райкома. Где-то за углом тарахтел на малых оборотах трактор, и оттуда доносило дымком сгоревшей солярки. В жестяном желобе звенела, хлюпала вода, размывая возле угла здания снег. Здесь образовалась большая лужа, по которой ветер гнал мелкую рябь. Острецов двинулся в обход, а Чебаков хотел с разгона перепрыгнуть, но не рассчитал сил и угодил почти в самую середину лужи, обдав себя брызгами. Выскочил на снег и, потряхивая ботинками, засмеялся:

— Чуть не сел в лужу!

Владислав хмыкнул:

— Еще сядешь...

Снег под ногами не хрустел, он вдавливался, как мокрый песок.

— Как там Устименко поживает? — беззаботно спросил Чебаков.

— Она же недавно здесь была.

— Мало ли что была! — Чебаков не хотел признаться, что Люба даже не зашла к нему. — Иной раз за сутки может столько произойти... Следовательно ездил к вам. Леснов настоял.

— В том-то и дело, что Леснов! — зло подхватил Острцов. — Если б не по его настоянию...

Чебаков быстро взглянул на него:

— Ты хочешь сказать, что Люба все-таки виновата?

— На собрании она и сама этого не отрицала.

— На собрании она вообще не выступала. Инициатива была в наших руках. Клевали по всем правилам!

Острцов неестественно громко рассмеялся:

— Уж не влюблен ли ты, друг мой?! А я думал, ей на роду написано век в девах сидеть.

— Плоские шутки.

Остановились над обрывом. Его кромка обнажилась из-под снега и подсохла. После вязкого расползающегося снега приятно было стоять на теплом суглинке. Влажный ветер трепал полы пальто, посвистывал в плетне ближайшего двора. Деревья усыпали грачи. Некоторые, пластаясь на ветру, проносились над самыми головами Острцова и Чебакова, горланили

звонко и радостно. На солнце их вороное оперение играло фиолетовыми и синими бликами.

Молча следили за птицами. Владислав пытался угадать, о чем думал Чебаков. Ему казалось, что секретарь райкома комсомола что-то недоговаривал. И это «что-то» наверняка касалось его, Острецова. Не случайно Чебаков спросил о Любе, вспомнил о следователе, который ни в чем не нашел ее вины...

— Из обкома комсомола звонили, — неожиданно сказал Чебаков, сохраняя прежнее, замкнутое выражение лица. — Просили переговорить с тобой. Хотят взять тебя в аппарат обкома. Как ты смотришь на это?

Острецов нахмурился. Он боялся, что Чебаков заметит его ликование. «Нина будет счастлива! — неслось в голове. — Квартира с удобствами... И главное, из Лебяжьего — не на щите, а со щитом! Нет, это, конечно, здорово. Очень здорово! Расцеловать тебя мало, Вася, за такую новость».

— А ты-то как на это предложение смотришь? — равнодушным тоном спросил Острецов.

— Знаешь, пойдем-ка назад? Промочил-таки я ноги в той луже.

Они направились к райкому. Чебаков молчал.

— Я хотел бы знать твое мнение, Василий, — напомнил Острецов.

— Свое мнение я изложил месяц назад. Когда рекомендовал тебя обкому...

— Значит, твоя протекция?! — приятно удивился Острецов.

— Моя.

— Что ж, спасибо за доверие. В долгу не останусь.

— Эх, в поле бы сейчас! — с тоской произнес вдруг Чебаков и, потягиваясь, широко развел руки. — На простор! И зачем я согласился идти в секретари? Не по мне эта должность...

Острецову непонятны были его вздохи и сожаления. Сейчас он думал о том, как ускорить свой перевод в город. Были две причины, которые могли задержать. Первая — незначительная: завтра они с Чебаковым уезжали на съезд комсомола республики. На это уйдет не менее недели. Вторая — серьезная. Кандидатский срок истекал, а он, Острецов, еще не принят в члены партии. На руках не было ни одной рекомендации. Никто из лебязинских коммунистов не хотел поручиться за него. Одна лишь фельдшерица Лаптева пообещала к его возвращению приготовить рекомендацию. И еще неизвестно, как отнесется к нему собрание. В голову пришло совершенно неожиданное решение.

— Я зайду к товарищу Черевичному, — сказал Острецов возле райкома. — Один вопрос надо утрясти.

— А как насчет перевода?

— Завтра мы с тобой будем в обкоме, там и поговорим, — уклончиво ответил Острецов. — Подумать, взвесить надо...

Черевичный принял его радушно: усадил в кресло, сам сел напротив, горячо расспрашивал о работе, о

молодежных делах в Лебяжьем, посоветовал выступить на комсомольском съезде...

— Позадористее! Чтоб чувствовалось, что это наш делегат, не из робких... Да, а почему ты на утверждение не приезжаешь? Разве не принят еще? Поспешай, брат Жукалина тяжеловато, дадим отдых старику.

Острецов порозовел от удовольствия. Понял, что сейчас самый подходящий момент высказать просьбу.

— Алексей Тарасович, а вот вы как секретарь райкома можете рекомендовать в партию, ну, допустим, меня или кого другого с периферии? Я счел бы за большую честь получить вашу рекомендацию. На всю жизнь память!

Черевичному приятна была его просьба, но он потрянул головой:

— Негоже обходить коммунистов первичной организации. А кто тебе уже дал?

— Фельдшер Лаптева и... я на вас надеялся, Алексей Тарасович. — У Острецова сохло во рту от волнения. Он хотел во что бы то ни стало заполучить рекомендацию Черевичного, тогда его тыл был бы обеспечен прочной поддержкой. — Не откажите, Алексей Тарасович. Мне так дорого было бы ваше поручительство...

Черевичный с веселым сокрушением развел руками:

— И рад бы, дорогой комсорг, но... Перед уставом мы все равны. Да и лебяжинцы могут обидеться.

Острецов сник.

— Вы правы. На лебяжинцев трудно угодить. — Говорил он с горькими нотками в голосе. Играл на

великодушные и отзывчивость секретаря райкома. — Я ни у кого из них не решаюсь и рекомендации просить. Не любят меня за прямоту.

— Не то слово. Конечно, кое-кто и недолюбливает. Но Жукалин о тебе всегда был хорошего мнения.

— Был! — непроизвольно воскликнул Острецов и чуть не выложил перед Черевичным жукалинскую волюнку с дачей рекомендации. Более сдержанно добавил: — Павел Васильевич слабохарактерный человек: куда ветер, туда и он.

— Гм! Мне казалось, наоборот. Ты ошибаешься, дорогой Острецов. У него проси рекомендацию. Вот это действительно честь: человек более сорока лет в партии! Сам Фурманов принимал его в РКП(б). Хочешь, позвоню Павлу Васильевичу, подскажу?

— Что вы, Алексей Тарасович! — Острецов крепко перетрусил. — Мне будет неловко. Он же и скажет: «Ты что, Владислав, сам не мог попросить у меня рекомендации?!» Не надо, Алексей Тарасович. Другое дело, если бы вы лично поручились...

Черевичный, казалось, терял интерес к Острецову, слушал невнимательно, думал о чем-то другом. О чем? О посевной? О расплодной кампании в овцеводстве? О повестке дня очередного заседания бюро райкома? Или о предстоящей поездке по району? Был он в толстом свитере, диагоналевых синих галифе и кирзовых тяжелых сапогах. Рассказывали, иногда Черевичный оставлял завязший «газик» и шел по весенним полям пешком, делая за день по двадцать-тридцать километров. Он мог появиться там, где его совершенно

не ждали пахари и сеяльщики, отрезанные распутицей от всего района.

Пора было прощаться. Острцов извинился за непрошенный визит и мысленно искал тот момент в их разговоре, когда допустил «перебор». Что повлияло на Черевичного? Почему он вдруг охладел к нему? Пришлось признаться, что в последнее время он, Острцов, стал терять чувство меры, и это оборачивалось против него. «Все пропало! Очевидно, все пропало!»

— Слушай, — задержал его Черевичный, — а как там тот комсомолец, что...

— Григорий Карнаухов?

— Да-да

После той стычки с Григорием Острцов почти не видел его. Не довелось разговаривать и с Диной, потому что при встречах «цыганочка-смугляночка» смотрела на него, словно на пустое место. В общем, Острцов не знал, как живут молодые Карнауховы. Но ответил бодро и уверенно:

— Замечательная семья получилась, Алексей Тарасович!

— Ну вот, дорогой, а ты хотел наказать.

— Вы правы были, Алексей Тарасович... Мы им такую великолепную свадьбу устроили. Тройки с колокольчиками...

— Да-да, мне рассказывал Чебаков. Ну, всего наилучшего, как говорят украинцы.

Острецов ушел, а Черевичный долго сидел в задумчивости. Он не мог понять, чем ему на этот раз не понравился лебяжинский учитель. «Михеева о нем положительно отзывается... Шапочное знакомство, мимоходом? Может, в суждениях о нем Азовскова есть доля истины горькой? Шапочное знакомство...»

Он вынул из кармана помятую записную книжку и, сняв наконечник с авторучки, написал:

«После посевной пожить в Лебяжьем несколько дней. Разобраться. Изучить не хозяйственные дела, а людей». Слово «людей» подчеркнул двумя линиями.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Где-то рядом за окном журчал ручеек. Полторы недели назад, когда Фокея Нилыча привезли в участковую больницу с инфарктом, ручейка еще не было. Тогда весна лишь проклевывалась, постукивая капелью. А потом в разноголосице улицы появился вот этот булькающий звук. С каждым днем ручеек лопотал все звонче, решительнее, увлекаемые потоком льдинки перестукивались тонко, стеклянно, точно подвески хрустальной люстры. Иногда обостренный тишиной палаты и ничегонеделаньем слух Фокея Нилыча улавливал шуршание падающего в воду снега, подмытого ручьем.

Поздним вечером они засыпали вместе — Фокей Нилыч и ручей. Утром пробуждались тоже вместе: ручей начинал булькать, ломать ледяную крышку ночного морозца, а Фокей Нилыч принимался думать и слушать его картавую речь. В его положении ничего другого не оставалось делать: Люба запрещала вставать, двигаться, читать, волноваться. «Вам покой, полнейший покой

необходим!» — твердила она, принося ему лекарства и через резиновые трубки выслушивая трудные толчки пораженного сердца. Единственное она не могла запретить — думать. И Фокей Нилыч, морща большой покатый лоб, думал.

В палате он был один. Пользуясь этим, больной настоял, чтобы на день окно раскрывалось, хотя было еще довольно холодно. Из дому ему принесли и поставили на тумбочке в ногах цветущую герань. В нескольких стеклянных банках стояли подснежники — они даже на вид были свежи и прохладны. Генка где-то в степи нарвал целую охапку. На противоположной от кровати стене Геннадий повесил по просьбе отчима репродукцию с репинских «Запорожцев». Входя в палату, Люба часто замечала, как смотрит на окаянновеселых запорожцев Фокей Нилыч и тихонько улыбается. Ей он казался тоже вольнолюбивым казаком-рубаккой, пораженным в отчаянной сече с врагами, только его бритой крупной голове не хватало оселедца, а горбоносому лицу — длинных усов. Люба поняла, что Азовсков любил в жизни красивое, веселое, радующее. Не случайно конь его ходил под жаркой дугой-радугой в ярко-красных оглоблях!

Но временами она заставляла его другим. Он лежал задумчивым, хмурым, взгляд замирал на какой-нибудь одной точке. И Люба догадывалась, что в эти минуты Фокей Нилыч размышляет о том, как отнеслись к его письму в райкоме, как «отреагировали» на него. Фокей Нилыч сообщал о жизни комсомольской организации в обком партии, писал еще дальше, но заявления неизменно возвращались в райком со стереотипным предписанием: разобраться на месте и принять меры. И

меры принимали! К нему, Азовскову. В этот день из Степного приехала заведом районного комитета и резко сказала: «Если вы, Азовсков, не прекратите злопыхательскую возню, то вопрос будет стоять об исключении вас из партии! Партии нужны бойцы, а не штабные стрекулисты...» Нервный, горячий Фокей Нилыч сплеча махнул, словно шашкой отрубил: «Дура ты! Думаешь, дураки нужны партии?»

А часом позже почувствовал тошноту и резкие боли в сердце и левом плече. Люба определила — инфаркт... Поражение сердечной мышцы было неглубоким, и Азовсков быстро поправлялся. Люба считала, что через месяц она выпишет его из больницы. Теперь ему уже разрешалось двигаться на постели, читать. Но в середине апреля, когда серый ноздреватый снег лежал лишь в оврагах, а луга стали желтыми от цветущих лютиков и гусиного лука, Любе пришлось немало поволноваться за здоровье Фокея Нилыча...

Она сидела в правлении, ожидая попутной машины, чтобы проехать по бригадам, начавшим весенний сев. В своем кабинете по телефону разговаривал председатель, а рядом с ней нащелкивал-пощелкивал косточками счетов бухгалтер, а потом раздраженным движением ладони резко сдвигал вправо все сразу — что-то у него не сходилось.

Люба смотрела на улицу. Тополя и вербы возле домов покрывались молодой ярко-зеленой листвой, еще мелкой, не развернувшейся. Если хорошенько вслушаться, то услышишь, как лопаются почки. Форточка натягивала в комнату их острый клейкий запах, запах свежей листвы и сырой улицы. А за

поселком, на голубизне неба — акварельные мазки белых облаков.

«Хорошо сейчас в степи, — мечтала Люба. — Жаворонки поют, журавли в небе курлыкают. Зелено кругом. Мама уже проводила, наверно, папу в бригаду. Теперь до окончания посевной не заявится в хату. Надо написать домой, поздравить с полем».

В правление быстро вошла Лаптева. Видать, очень торопилась, с трудом переводила дыхание. Люба забеспокоилась:

— Что-нибудь случилось?

— Нет... Впрочем, да... Посоветоваться надо. — Лаптева покосилась на бухгалтера, шепнула: — Давайте выйдем, Любовь Николаевна...

На улице она протянула Любе сложенный вчетверо лист бумаги:

— Фокей Нилыч...

Строчки были неровные, буквы то разъезжались, то наползали одна на другую — Азовсков писал лежа и торопливо:

«В первичную партийную организацию

Лебяжинского колхоза

от Азовскова Ф. Н.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Как вам, дорогие друзья мои и товарищи, известно, я всегда прямо стоял за справедливость и честность. Прямо и правильно стоять в жизни, сами понимаете, нелегко. Крепко понял я это, особенно когда хотел раскрыть болтуна из болтунов, обиженного богом Острцова. Я не раскрыл и ничего не добился. Меня

наказали жестоко, а все мои заявления в высшие инстанции прибывают обратно в Степной. В общем, дорогие товарищи, я понял, что сил у меня уже нет. Да и вера в идеалы подшатнулась. И лучше, решил я, жить тихо и в тени, в тени меньше потеешь. И еще, решил я, не надо мне ждать исключения из партии, как пообещала мне товарищ Михеева, лучше мне самому добровольно уйти. Поэтому я и пишу вам это заявление, а вы без моего присутствия отчислите меня из партии. По-русски, проще, значит, — исключите по собственному моему желанию! Останусь беспартийным большевиком. По крайности, не будут меня на всяких бюро и собраниях прорабатывать, ежели скажу дураку — дурак, а болтуну — болтун.

К сему Азовсков».

Люба поняла, какое нервное потрясение, какой надлом должен был перенести Азовсков, чтобы написать это заявление. За каждой строкой сквозила боль человека, во всем разуверившегося, на все махнувшего рукой.

Люба, ни слова не говоря, пошла в больницу. Рядом семенила Анна Семеновна:

— Нилыч позвал к себе и говорит: «Ты, Семеновна, старый член партии, тебе я доверяю. Прошу: снеси это заявление Жукалину, пускай побыстрее решат». Я сначала-то не поняла, а когда вышла и глянула в бумагу — ахнула, жаром меня обдало. И что они с этим Острцовым завелись?! Парень молодой — кто не ошибался в его возрасте! Вступит вот в партию, остепенится, на старших глядя. — Лаптева помолчала и, словно оправдываясь, добавила: — Вчера за рекомендацией ко мне приходил. Обаятельный юноша...

Люба закусила губу, голубые глаза потемнели. И совсем неузнаваемым стал голос.

— Вообще-то, Анна Семеновна, красиво получается: заслуженного человека, боевого орденосца из партии долой, а обаятельного юношу — под руки, чтобы не споткнулся, добро пожаловать в ряды коммунистов!

Любина резкость уколола женщину, и Лаптева замкнулась. Люба взяла ее под локоть:

— Извините, Анна Семеновна, я не хотела вас обидеть, но... Наверно, все-таки вот такие люди помогали злему беззаконию в тридцать седьмом. Святое для них только личное «я».

Лаптева замедлила шаги, нерешительно взглянула на Любу:

— Как вы смотрите, если я... Ну, не передам пока заявление Жукалину?

Люба подумала и согласилась:

— Правильно. О заявлении — никому ни слова.

Азовсков приоткрыл глаза, когда Люба вошла в палату, и тут же снова закрыл. Усталость и равнодушие успела прочесть в них Люба. На его белом покатом лбу и во впадинах возле висков скопились капельки пота. Люба осторожно, чтобы не потревожить больного, нащупала на запястье пульс: он был слабого, неровного наполнения. На вопросительный взгляд Лаптевой пожала губами: плохо.

Люба забрала с тумбочки книги, со стула газеты и вышла из палаты. Сев в кабинете к столу, она стала заполнять историю болезни. Лаптева сидела напротив и недоумевающе, расстроенно говорила:

— Так хорошо поправился... На такую крайность решиться... И отчего, почему?!

— Острецов, Анна Семеновна, опять Острецов! Не человек, а сажал... Фокей Нильч прочитал статью о себе. Кто-то газету ему принес.

Женщина вспыхнула, как уличенная в проступке школьница.

— Вы ведь разрешили ему вставать...

— Я и не виню вас, Анна Семеновна...

Со съезда Острецов вернулся вчера. А сегодня пришла областная газета с его статьей. В районной ему не удалось «протолкнуть» ее, зато в областной напечатали. В статье подробно рассказывалось о комсомольском собрании в Лебяжьем. По словам автора, собрание дало решительный бой тем, кто не дорожит высокой честью строителя нового общества. Острецов критиковал Жукалина за инертность, дескать, придерживается принципа: моя хата с краю! Не называя фамилии Азовского (пощадил хоть в этом!), рассказал о его поступке:

«Коммунист не дал стекла пострадавшему человеку. Более того, он настраивал против комсомольских активистов сына и его товарищей. Молодежи Лебяжьего, разумеется, нелегко жить и трудиться в таких условиях, но она не отступает и смело борется со всем косным, мешающим нашему движению вперед...»

— Что же будем делать, Любовь Николаевна? — виновато промолвила Лаптева.

— Лечить!

— Я говорю о рекомендации Острецову

— Это уж сами решайте. Острцова тоже надо лечить: у него верные признаки паранойи. Болезнь величия.

Лаптева вздохнула:

— Вы, конечно, преувеличиваете, но мне от этого не легче.

В кабинет вбежала возбужденная Таня.

— Ой, новость, Любовь Николаевна! — ликующе воскликнула она, но под взглядом Любы и Лаптевой осеклась. Перешла на шепот: — Что такое, что?

Ей сказали. Таня на цыпочках сходила к палате и, вернувшись, шепнула:

— Спит. А я вам новость сообщу. Приехал товарищ Черевичный, вот! Где у вас, говорит больница, хочу я ее в конце концов проверить. Он вместе с Жукалинным Павлом Васильевичем ходит по поселку. И еще с ними Острцов ходит. Только у Острцова вид кислый-прекислый...

Таня, наверное, еще бы час тараторила взахлеб, но в коридоре послышались шаги и мужские голоса. Люба торопливо поднялась навстречу. Первым переступил порог Черевичный. За ним вошли Жукалин с Острцовым. В кабинете сразу стало тесно, запахло табаком и степью, травами. Черевичный поздоровался с Любой за руку, улыбнулся:

— Это вы и есть та самая Устименко?

— Смотря какая «та самая». — Люба не очень доверяла его улыбке, хотя и волновалась от неожиданности такого визита.

— Та, которая рецепты лодырям выписывала.

— Садитесь, пожалуйста. Таня, принеси еще стул. — Люба подчеркивала, что к шуткам не расположена. — Я попрошу... У нас тяжелобольной...

— Извините, пожалуйста, — понизил голос Черевичный, не сводя с Любы пристального изучающего взгляда. — Я хотел бы увидеть Фокея Нилыча Азовского.

— О нем я и говорю. Он в тяжелом состоянии.

— А мне сказали, что встает уже. — Черевичный недоуменно глянул на Жукалина. Тот так же недоуменно посмотрел на Любу. А Люба прищуренные глаза остановила на бледном надменном лице Острецова.

— Фокей Нилыч прочитал статью товарища Острецова. История со стеклами там обыграна в сто первый раз.

Наступило молчание. На улице шумела детвора, игравшая в лапту. Слышно было сипловатое дыхание Жукалина, он жевал губами и лиловел, с трудом удерживая кашель. Люба машинально листала историю болезни. Лаптева и Таня потихоньку выкрались за дверь. Острецов стоял, прислонившись к окрашенной масляной краской стене, и поверх голов невидяще смотрел в окно. Черевичный сидел ссутуленный, тяжело упирался ладонями в расставленные колени.

— Ясно! — глухо произнес он поднимаясь. — Ясно. Еще раз извините нас за вторжение. Я с вами не прощаюсь, Любовь Николаевна. Павел Васильевич вот приглашает вас вечером в правление. Это не собрание будет и не заседание, а просто дружеский разговор по

душам. Ведь наболело, наверно, а? Наболело? Приходите.

Давно стихли шаги мужчин, а Люба все сидела за столом и думала, думала, сжимая виски руками. А перед ее глазами почему-то стояло бледное, будто замороженное лицо Острцова...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

До полевого стана первой бригады было пятнадцать километров степной дороги. Люба поглядывала на спидометр: белый кончик стрелки покачивался между цифрами «10» и «20».

— Тебе только молоко возить, — сказала она.

Григорий привычно передвигал грубые ладони по рулевой баранке, объезжая выбоины, и посвистывал сквозь редкие зубы.

— Я семенное зерно везу. И тебя.

Люба улыбнулась и стала смотреть в окно.

Позавчера она вернулась домой из больницы и увидела Григория. В сопровождении Анфисы Лукиничны он важно ходил по надворью с топором. То соху у катуха подправлял, то упавший старый плетень привязывал, то принимался балясину для калитки строгать. И все посвистывал.

Любе свой визит объяснил так:

— Хочу стать главным инженером в Лебяжьем. Понимаешь? Ну, значит, надо учиться. Буду в институт на заочное поступать. А с математикой у меня не шибко здорово. На царицу небесную не очень полагаюсь...

Женщина есть женщина... Одним словом, бери шефство.

Машина мягко покачивалась на ухабах. Иногда при встрясках в кузове, сдвигаясь, тяжело всплескивалось красное просо. На просе лежал Генка Раннев. Он вез из мастерской запасную деталь к своему трактору. Наверно, дремал под нежарким солнцем.

За стеклом кабины — весна, глубокое небо, жаворонки и тюльпаны. Цветы были только по межам и у обочин дороги. Распахали люди тюльпанные степи! Когда они, Устименки, приехали на целину с Полтавщины, то степь была как яркая цыганская шаль — вся в цветах. А жаворонки-жавороночки, наверное, те же...

Хотелось спать. Прошлая ночь была трудной, привезли сразу двух тяжелобольных.

— Ты не очень спешишь, вижу? Останови на минутку, а?

Григорий выключил скорость и зажигание. В непривычной тишине грузовик прокатился метров двадцать и остановился. Люба спрыгнула на землю. Теплый ветер дул в ее усталые глаза, трепал светлые локоны и подол ситцевого платья. Она щурилась, ища в высоте жаворонка — невидимый колокольчик неба. Больше всего любила она эту серенькую кроткую птичку, ее пение над зеленой парящей степью, над синими речками... Однажды Люба слышала, как пел жаворонок над городом, и его пение почему-то нисколько не тронуло ее, оно показалось каким-то искусственным, будто проигрывалась магнитофонная запись.

Люба отошла в сторону, начала рвать тюльпаны. В рубиновых и желтых раструбах еще не высохла утренняя роса. Из цветка неуклюже вылез мохнатый жучок, его кривые лапки и бархатистое брюшко были в фиолетовой пыльце тычинок.

— Тюльпаны — самые красивые цветы на свете, — сказал Григорий.

— Позволь?..

Люба оперлась рукой на его плечо: в туфлю ей попал камешек. Возле своей щеки Григорий видел спящую свежесть тюльпанов, сжатых Любиной рукой, а почти у плеча — ее белое, с веснушками возле переносицы лицо, приоткрытые губы...

Вытряхнув камешек, она выпрямилась.

— Поехали. — Захлопнула за собой дверцу. — Подруга прислала письмо. Пишет, как твоя диссертация, Любаша? — Люба улыбнулась, пряча лицо в цветах. — Написала ей... Пока что, говорю, выдерживаю кандидатский минимум на право называться человеком. Громко? — испытывающе глянула на Григория.

— Кандидатом наук легче стать, чем настоящим человеком. Боюсь, из меня никогда настоящего человека не получится. Шофер первого класса получится, инженер получится, а настоящий человек... нет!

— Что за уничижение!

Григорий переключил скорость, прибавил газу.

— Точно говорю.

Люба смотрела за окно, прижимая букет к подбородку. Кончик ее носа и губы были выпачканы фиолетовой и желтой пылью тюльпанов.

— Как думаешь, Острцов успокоится теперь или нет?

Григорий крутнул головой:

— Не такой он человек! Наверно, уедет отсюда, но не успокоится. Будет в другом месте «правду-матку» резать. Откровенно говоря, боялся я его, как черта во сне. Что бы ни делал, о чем бы ни говорил, всегда спрашивал себя: а как Владислав на это посмотрит, не попадет ли от него?

— Не обманывай! — засмеялась Люба. — Когда Дину увозил, небось не спрашивал.

— Не спрашивал, а трусил — ммм! Я уж с комсомольским билетом прощался. А Владислав сам на свадьбу припожаловал, и купил он меня, с потрохами купил. А Дина мне: не верю я ему, не верю, лицемер он! И откуда у вас, женщин, такое чутье на людей? За это обожаю вас...

За древним шиханом, насыпанным, быть может, конниками и рабами Чингисхана, показался полевой стан: дом под серой шиферной крышей, два темно-красных вагончика, несколько тракторов возле заправочных цистерн. Над коньком крыши бился алый шелковистый флаг, а в воздухе сверкали оперением голуби. Весь стан опоясывали ярко-зеленые молодые тополя.

Григорий кивнул в ту сторону:

— Это Фокей Нилыч во все бригады голубей завез. И деревца он... Загрузил мой «газон» саженцами и говорит: поехали озеленять бригады! Братва — на дыбки: некогда, сев ведем! А он: ничего, ничего, перед сном по ямке выкопаете, ничего, полезно... А чья, мол, бригада больше всех высадит деревцев, той к Первомаю бильярд купим... Пришлось завхозу в каждую бригаду бильярд покупать...

Вчера во время обхода Азовсков спросил у Анны Семеновны Лаптевой: «Мое заявление разобрали?» Глаза прикрыты тяжелыми веками, от крыльев крючковатого носа к уголкам сомкнутого рта пролегли складки. На лбу, поперек глубоких морщин, лиловела набухшая извилина вены. Странно, что с того дня, как написал заявление, Фокей Нилыч ни разу ни у кого не спросил о его судьбе. А ведь частенько навещали его и Степняков, и Жукалин...

«Разобрали или не разобрали, Семеновна?» — суше, требовательнее спросил Азовсков, не открывая глаз. Он окреп уже настолько, что можно было не опасаться за него, но все же Люба заволновалась: ведь человек ждал приговора! Может быть, приговора всей своей жизни, всему своему делу. Лаптева растерянно поглядела на Любу. Люба кивнула: чего уж, открывайтесь, Анна Семеновна, хватит в прятки играть! И та, запинаясь, сказала, что они, мол, посоветовались с Любовью Николаевной и решили не отдавать заявление в партбюро.

Потом стояла долгая тягостная тишина. К острым скулам Азовскова медленно прилиwała кровь. Все так же, не поднимая тяжелых век, он тихо обронил:

— Спасибо!

Сегодня утром она увидела его помолодевшим, веселым. Анна Семеновна шепотом сообщила:

— Забрал у меня заявление и порвал. Первый раз в жизни, говорит, спасовал, старый дурак.

Возле вороха проса, напоминающего бархан, Григорий затормозил. Открыл задний борт и потянул за ногу уснувшего Геннадия:

— Вставай, сонная тетеря! — А Любе кивнул на коричневый мотоцикл с люлькой: — Чебаков здесь!

— Чебаков? — Люба и удивилась, и насторожилась. С того памятного собрания секретарь райкома больше ни разу не навещался в Лебяжье.

— Чебаков?! — Генка снял ботинки, вытряхнул из них просо. — Положительный это или отрицательный симптом, Любовь Николаевна? А?

Чебаков быстро шагал от пылившего на пашне сеяльного агрегата. Видно, проверял глубину заделки семян, консультировал сеяльщиков. Был он в сапогах, новеньком синем комбинезоне, на котором ало поблескивал эмалью комсомольский значок. Весело поздоровался. Любе подмигнул:

— Приезжай завтра на бюро! Думаем снять с тебя строгий выговор, вынесенный на собрании... Переборщили!

— Какое великодушие! — Любу несколько не обрадовало его сообщение. — Кто же это вас заставил передумать?

— Товарищ Черевичный! — ехидно ввернул Генка, направляясь к своему трактору. Издали крикнул: — Вот подожди, на следующей конференции мы тебе всыплем!

Чебаков развел руками:

— Зачем же так, Гена?! Я же еще молодой секретарь, исправлюсь. Не веришь?..

— Все сваливают кто на молодость, кто на неопытность, но никто — на собственную глупость. — Григорий взял деревянную лопатку и полез в кузов.

Чебаков покраснел. С деланной улыбкой хотел что-то ответить, но Григорий повернулся спиной, молча сталкивал на ворох просо. А Люба извинилась и сказала, что торопится, у нее дел по самую маковку. Пускай Чебаков знает, что не все прощается сразу...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Фокей Нилыч поочередно пожимал всем руки — Любе, Лаптевой, сестрам, санитаркам. Непривычно было видеть этого сурового человека растроганным, обмягшим. Казалось, и голос его стал сырым, когда он благодарил медиков и говорил, что теперь он еще лет сто проживет, потопчет землю-матушку.

Таня протянула ему завернутую большую рамку с репродукцией.

— Ваши «Запорожцы», Фокей Нилыч.

Он развернул картину, поставил на стул и, отойдя, с минуту любовался казачьей вольницей.

— Оставляю я их вам, девушки... Пускай веселят больных!

Взглянул в открытое окно. Еще больше оживился. Возле штакетника остановился серый длинный конь под высокой дугой-радугой, нетерпеливо бил кованым копытом. В тарантасе с желтыми спицами сидел младший сынишка Азовского и с трудом удерживал на вожжах рысака.

— Все правильно! — громко сказал Фокей Нилыч. — Все стало на свои места.

Он еще раз окинул всех теплым благодарным взглядом и направился к двери своей немного косолапой походкой.

Фокей Нилыч переходил больничный двор, все смотрели ему вслед, но никто ничего не говорил.

Азовский легко впрыгнул в тарантас, забрал у сына вожжи. Махнул медикам рукой и дал коню волю. Резво застрекотали колеса, и будто четыре желтых солнца покатались по вечеряющей улице...

— Слава богу! — истово перекрестилась пожилая санитарка.

— При чем тут бог? — возмущенно пожала узкими плечами Таня. — В конце концов, мы его выходили, а не бог.

— Язык у тебя, Таня, не приведи господи!

На той стороне улицы, возле школьного зеленого штакетника стоял Острцов. Был он в белой нейлоновой сорочке с закатанными рукавами, в пиджаке внакидку. Скрестив руки на груди, Острцов из-под драповой кепки, надвинутой на брови, мрачно глядел вслед уехавшему Азовскому.

Поправляя в седых волосах марлевую косынку, Лаптева заторопилась в глубь больницы. Таня повесила в шкаф свой халат, тряхнула рыжими косичками и выбежала на улицу. Проходя мимо Острцова, замедлила шаг и, подняв остренький подбородок, смерила учителя уничтожающим взглядом. Она не знала компромиссов. Острцов презрительно отвернулся.

Люба подумала, что Острцов поджидает ее. Конец рабочего дня, она должна идти мимо него.

Любе не хотелось с ним встречаться. И она была в больнице до тех пор, пока не ушел Острцов.

Но избежать встречи не удалось. Вечером Острцов пришел к Любе домой. На его приветствие Анфиса Лукинична сдержанно поклонилась и тотчас ушла из избы. Острцов понял ее по-своему:

— Брезглива твоя хозяйка к инакомыслящим, Любовь Николаевна. Это свойственно всем староверам. — Как и в первое свое посещение, он внимательно, оценивающе осмотрел маленькую горницу. — Ничего не изменилось. Те же сундуки с нафталином, та же лампадка, тот же ладанный дух. Так и кажется, что все здесь на ладан дышит.

Люба молча, отчужденно смотрела на Острцова. Ждала, что он еще скажет.

— Я понял, что ты не захотела сегодня после работы встретиться со мной. Но если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. — Острцов разулся и в носках прошел к столу, сел напротив Любы. — Я пришел прощаться, Любовь. Уезжаю! Хочу попрощаться. Ни с кем не прощаюсь, а с тобой... зашел вот... — Что-то надломилось в его обычно сильном, смелом голосе, был

он прерывистым, неуверенным. Острецов провел ладонью по каштановым волнистым волосам, повлажневшие глаза остановил на портретах бородатого урядника и немолодого красноармейца. — Да-а... А жизнь бежит, Люба, годы уходят, как вешняя вода... И надо все сначала начинать... Трудно. Зато есть опыт. Теперь без рукавиц меня не возьмешь — обожжешься! Рано списали меня...

Люба вскочила.

— Да не рисуйся ты, ради бога! Не рисуйся! Ты же прощаться пришел!..

Сходила на кухню, принесла горячий чайник, достала из горки посуду. Немного успокоилась.

— Давай чай пить. Ты же чай любишь, крепкий, крутой. Бери варенье...

Долго колотили ложечками в стаканах. Молча пили. Каждый думал о своем.

«Какой я ее наивной, неприспособленной считал тогда, в первую встречу... Эта была моя первая ошибка. А вторая? А третья? Где, когда они совершены? Голова пухнет от этих мыслей проклятых. Ведь все складывалось отлично, так, как надо... Ведь не для себя — ради людей старался, ради нее вот... Неужели я ошибался? Нет-нет, просто в людях зависть говорит».

«Куда он хочет уезжать? Зачем? Чтобы в другом месте, как говорил Гриша, «правду-матку» резать?.. Ему никак, нельзя уезжать отсюда, никак. Лебяжинцы знают его и слабые и сильные стороны, только здесь он может подняться как человек... На новом месте он примется за старое. А когда и там дадут по рукам, снова кому-то

плакаться будет: «Надо все сначала начинать». Да, Острецов, начинать, но с другого конца».

— Не уезжай, Владислав, — сказала Люба.

— Меня ждет город. Списался со старыми товарищами. В пяти школах место предлагают. Только не хочу больше... в школу...

«Даже сейчас рисуется!» — Люба знала, что в городе, как правило, учителей избыток и в школе устроиться трудно. А ему — целых пять мест! Нет, Острецову никак нельзя уезжать из Лебяжьего.

— А Нина?

— И Нине будет место. Нина, разумеется, очень рада. Все-таки город, квалифицированная врачебная помощь... С сердцем у нее хуже стало...

— Не лги, Острецов! — резко попросила Люба. — Сейчас хотя бы, здесь не лги, на жену и ее сердце... И — не уезжай. Это мой последний дружеский совет. Ты ведь не просто уезжаешь, ты — дезертируешь.

— Громкие слова, Любовь! — Он отодвинул блюдце со стаканом. — Человек всегда подчиняется сложным обстоятельствам. Попробуй представить себя на моем месте, а? Оплеванный, оскорбленный, свергнутый.

Люба насмешливо сузила глаза:

— Неужели у тебя так коротка память, Слава? Вспомни, я точно так же ходила по Лебяжьему: оплеванная и оскорбленная. Тобой! А тебя никто не унижал и не оскорблял, тебя одернули, образумили. Скажи откровенно: ты тогда надеялся, что я уеду?

— Зачем ворошить прошлое?

— Если оно неприятно тебе... Ты был уверен, что я сбегу, я тебе мешала, ты к этому не привык. А мы не хотим, чтобы ты бежал, дезертировал. Подумай, Владислав!

Он вышел из-за стола. Присев у порога, стал зашнуровывать ботинки.

— Мы, Любовь, никогда не понимали друг друга. Не поняли, похоже, и сейчас. Проводишь?

— До калитки...

Люба накинула на плечи платок.

У калитки остановились. Ночь была безлунная, но звездная и теплая. Как дым рыбацкого костра, протянулся над головой Млечный Путь.

— Прощай, Люба! — Острецов подал руку. — Говорят, долг платежом красен. Можно считать, мы с тобой квиты. И я уезжаю. Прощай, враг и друг!

— Подумай хорошенько, Владислав! Мы не прощаемся с тобой.

— Ты повторяешь слова Жукалина, друг мой. — Чувствовалось, Острецов улыбнулся в темноте. — Вы сговорились с ним?

Люба вздохнула:

— Ничего ты не понял, Острецов! К сожалению, ничего!

Шаги Владислава затерялись в темноте. Потом он вынырнул в бледном озерце света, падавшего со столба. Снова на время исчез и снова появился, только дальше, под очередной электролампочкой на столбе.

«Так и будет всю жизнь нырять — из темноты на свет, со света — в темноту. Эх, Острцов, Острцов! Скольким ты еще людям неприятности принесешь... Все-таки лучше было б остаться ему здесь. Мы-то его теперь хорошо знаем, у нас бы он...»

Люба решила утром позвонить Чебакову, пусть еще он поговорит с Острцовым, пусть Черевичный поговорит. Вредно, противопоказано ему уезжать... Чебаков, Черевичный — авторитет ли они для Острцова! Да и найдут ли они для такого нелегкого разговора время? У них ведь вон какие заботы! Завершение сева. Подготовка к сенокосу. Семинар по стрижке овец. Семинар пропагандистов. Вспашка паров. Заседание бюро. Подготовка к пленуму... Много у них сиюминутных забот! Не найдут они время на Острцова. А может быть, найдут? Они ведь, кажется, тоже кое-что поняли из лебяжинской истории. Леснов же понял. Как пугал ее Лебязьим! «Медвежий угол!», «Гнездо староверов и знахарей!» На поверку-то — ничего толком не знал, слухам верил, тому же Острцову верил. Нет, Чебакову нужно обязательно позвонить — пусть они там отвлекутся от очередных своих «мероприятий», пусть по душам поговорят с Острцовым, по своей должности они обязаны найти нужные слова, нужный подход к нему. Острцов же не глупый, только с «поворотом», если толково поговорить — поймет. А поймут ли ее, Любу, когда она попросит за Острцова? Не истолкуют вкось да вкривь? Действительно, чего это она так за него?! Господи, да человек же он, че-ло-ве-е-ек! Не с «мероприятий», не с процентов, не с «галочек» в отчетах надо начинать — с чело-ве-ка. Человеком все ставится, человеком и рушится. Поймут ли ее?

«Утром получу ответ! — сердито хмыкнула Люба. — Вот позвоню — и получу!..»

От старицы, с огородов тянуло свежестью молодой зелени, влагой. Пахло ночными фиалками. Люба прислонилась спиной к плетню, откинула назад голову. Над головой все тот же Млечный Путь куржавел, напоминая приглашение Чебакова «съездить гурьбой на рыбалку, с ночевой, я для тебя, Люба, поймаю вот такенную рыбину!..» На старице крякала дикая утка. Вдалеке ухал филин, пугая все живое. Из чьего-то открытого окна слабо доносились звуки радиолы, смех, возбужденные голоса...

Обманчивой была тишина, обманчивой была летняя короткая ночь!

1966—1967 гг.